Т28 6/53

T28 6/53

ATHENAEUM

Отпечатано в количестве 1500 экз.

Анатолий Федорович

КОНИ

СПИСАНО.

Анатолий Федорович

К О Н И

923
К6И

1844—1924

ЮБИЛЕЙНЫЙ
СБОРНИК

ПРОВЕРЕНО
1930 г. Е. С.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АТЕНЕЙ»
ЛЕНИНГРАД
1925

Госуд. публичная
историческая
библиотека РСФСР
420242

420242

ПРИВЕТСТВИЯ

Приветствие Председателя Юбилейного Комитета Российской Академии Наук академика С. Ф. Платонова.

Глубокоуважаемый
Анатолий Федорович!

От лица всех собравшихся здесь Ваших друзей и почитателей приношу Вам поздравление с днем Вашего рождения и горячее пожелание всего, всего доброго.

80-ю годовщину Вашей жизни Вы встречаете с такою высокою степенью духовной бодрости и силы, какая способна вызвать наше удивление и восхищение. В ней мы видим залог того, что еще долгое время будет нас озарять свет Вашего ума и согревать теплота Вашей души. Да будет так!

Судьба дала Вам завидный удел. Одаренный умом и талантом, способный влечь к себе сердца, Вы имели все шансы достигнуть степеней высоких на поприще служебной карьеры и житейского успеха. И, однако, успех Ваш, достигнутый в русском обществе, не был карьерой, Вы пошли путем, независимым от милостей и ласк, и связали свою жизнь со служением не власти и моде, а вечному и безусловному. В судебной среде, в общественной деятельности, в литературных высту-

лениях Вы всегда искали истины и справедливости—тех начал человеческого духа, без которых не может жить человечество ни в какое время, даже в те моменты, когда в нем, казалось бы, забыты право и братолюбие. Этим высоким и вечным началам служили Вы сами и других учили служить. В суде, в Сенате, в Государственном Совете, так же, как на кафедре лектора и в редакциях журналов с Вашим именем соединялась не партийная или кружковая программа, а неразрывная близость к основным проблемам общественной и личной морали. И Вы действовали на читателей и слушателей тем сильнее, что никогда не проповедывали: Вы только открывали другим тот внутренний процесс искания истины и добра, каким в данную минуту жили сами.

Правда, Вы открывали Вашу внутреннюю работу в особенной форме—в прекрасном, литературном, образном и звучном слове. Природа дала Вам особенную способность строить речь красиво и сильно, а широкое, исключительно широкое образование обогащало эту речь образами поэзии и искрами философской мысли, можно сказать, всего мира. Но от этого нарядного убора не страдала внутренняя сила скрытого в Вашем слове воспитательного назидания, а только нарастало то умственное наслаждение, какое выносили люди от общения с Вами.

Надо ли говорить, что именно эти Ваши свойства, создавшие из Вас человека самоценного, независимого от внешней группировки отношений, безвредно провели Вас через только что пережитую нашим народом полосу тяжелых испытаний,—и вот Вы в настоящую минуту находитесь в нашей среде невредимый и бодрый, неизменный и неуклонный, не утративший ничего из тех духовных ценностей, какими Вы обладали всю Вашу жизнь и какими определялось Ваше общественное лицо.

В последующих приветствиях Вы услышите свою должную оценку: я же ограничусь только выражением нашей общей радости—приветствовать в Вас непоколебимого старого служителя истины и добра А. Ф. Кони.

10 февраля 1924 г.

Адрес Отделения Русского Языка и Словесности Российской Академии Наук.

Глубокоуважаемый
Анатолий Федорович!

В этот день, когда русская интеллигенция приветствует Вас с исполнившимся восьмидесятилетием Вашей жизни — Отделение русского языка и словесности Российской Академии Наук присоединяет и свой голос к согласному хору приветствий Ваших друзей, ценителей и почитателей Вашего литературного таланта и тех высоких духовных качеств, которые сделали Вас центром, объединяющим симпатии и уважение лучших представителей русской науки и культурного общества, без различия убеждений и направлений.

Вы особенно дороги Отделению русского языка и словесности, как давний член Академической семьи, как почетный член Академии и действительный член Разряда Изящной Словесности.

Вы работали на различных поприщах, близких к интересам Отделения русского языка и словесности, и везде остались неизгладимые следы этой работы, о чем приятно вспомнить в этот торжественный день, отпраздновать который выпадает на долю далеко не всем ученым и литераторам.

Живая речь оратора—продукт творчества, одаренного мгновенным вдохновением—большею частью бесследно замирает для потомства. Редкий оратор сохраняется во всей красоте его речей. Но Ваши

речи, закрепленные в свое время печатно, останутся в наследие грядущим векам, как образец благородного красноречия, соединенного со всепреодолевающею искренностью.

Как образцы словесного изящества и чистоты прекрасного русского языка, они служат для обогащения обильным материалом составляемого Отделением русского языка и словесности «Словаря русского языка», и таким образом Ваше имя становится известным во всех уголках русской земли.

Тонкий знаток литературы и ценитель красоты поэтического вымысла и выражения, Вы не раз, по приглашению Отделения, призывались подать Ваш голос о произведениях русских писателей. Как литературный критик, Вы всегда занимали особое, свободное положение в своих суждениях, будучи чужды партийности и доктринерства. Острота суждений, неподдельное врожденное и воспитанное высоким образованием чувство прекрасного всегда указывало Вам верный путь, и на Ваш суд в этом отношении не было апелляций.

Ваши воспоминания и о далеком для нас прошлом, и о недавно пережитом и виденном, найдут высокую оценку будущего историка. Они для нас являют собою живой образ целой эпохи русской жизни, начиная с великого часа, когда народ стряхнул с себя цепи рабства, кончая последними десятилетиями, памятными многим из нас. Эпически развертываясь, пестрою, многоцветною вереницей проходят в этих воспоминаниях лица и события, освещенные тихим светом раздумья, оцененные с тою умеренностью и душевным равновесием, которое свойственно только мудрости многоопытного, много пережившего сердца и разума.

Окрыленный ясным идеалом общественным и литературным, Вы спокойною поступью, не взирая ни на какие перемены и веяния жизни, прошли путь, кото-

рому может позавидовать любой писатель, любой общественный деятель.

И за этот «почетный» путь Члены Отделения русского языка и словесности Российской Академии Наук, с глубоким уважением к Вашей энергии и душевной силе, приносят Вам, своему «почетному академику», низкий поклон. 10-го февраля 192½ г.

Приветствие акад. С. Ф. Ольденбурга.

Длинные списки имен, громадные перечни фактов и событий, числа и цифры без конца — вот в каком виде нам обыкновенно представляется прошлое; точно находишься в каком то громадном хранилище костей и стараешься из костей подобрать какие то скелеты, причем часто даже нет уверенности, что эти кости действительно принадлежат одному определенному скелету. И все таки надо создавать и воспроизводить это прошлое и при том не только его скелет, для того, чтобы сознательно относиться к настоящему и чувствовать будущее и строить его, поскольку человек действительно может строить.

Начинается воссоздание прошлого, с тревожным чувством, полным сомнений в возможности понять и воссоздать прошлое, настолько противоречивы понимания этого прошлого разными людьми, а особенно в разные эпохи. Попробуем проследить отношение к определенному историческому лицу через века и у разных народов и мы поразимся, до чего оно разнится, и как трудно уловить истинный облик человека; то же относится в полной мере и к определенной эпохе. И мы видим, как быстро создаются легенды, своим туманом отделяющие нас от действительно бывшего и как все слабее становится в нас уверенность в возможности действительно представить себе прошлое таким, как оно было.

Мысля эти особенно настойчиво приходят в голову теперь, в годы величайших перемен в жизни всего мира, а особенно нашего отечества. Вот уже десять с лишним лет мы живем лихорадочною жизнью, исключительно сложною и богатою событиями. Переживаем несомненно очень разно и все-таки в одном переживаем одинаково: мы все сознаем, что настал новый период жизни человечества, глубокой и коренной ломки старого и строительства нового. И здесь для нас исключительно важно настоящее глубокое понимание прошлого, во многих отношениях особенно близкого прошлого. Справедливо, конечно, говорят, что для правильных суждений о прошлом нужно время; да, конечно, нужно время, но ведь жизнь не ждет; нам, которые живем сейчас, важно, необходимо иметь по возможности правильное представление о прошлом, именно ближайшем прошлом, чтобы возможно правильнее отнестись к настоящему. Как же это сделать, где искать это понимание, эти правильные представления?

Их надо искать там, где наиболее разносторонне, ярко и беспристрастно освещено это прошлое. К сожалению, таких источников не много, несмотря на целые шкафы мемуаров, воспоминаний, записок. В них, почти во всех, так много личного, так мало общего, что невольно остерегаешься их, и, думаю, не напрасно.

И все-таки есть такие картины этого недавнего прошлого, к которым мы должны отнестись совершенно иначе, потому что они действительно воспроизводят перед нами самую жизнь, в ее разнообразнейших проявлениях, дают нам возможность переживать ее и понимать, как и почему из нее выросла современная жизнь.

Лучшее в этом отношении принадлежит человеку, который живет с нами, которого мы видим и слышим, и который из восьмидесятилетнего опыта жизни

вынес способность не только понимать, но и принять глубоко и чутко то полное переустройство жизни, которое так трудно воспринимается в наши дни даже многими молодыми. Стоит только обратиться к исключительно жизненным страницам Анатолия Федоровича Кони, чтобы стало ясным, что человек, так глубоко переживавший наше недавнее прошлое, должен был понять и все наше сложное настоящее. Перед нами ряд томов, написанных этим исключительно чутким человеком, в которых заключена внутренняя история более чем полустолетия, и какого полустолетия: эпоха реформ, реакции и борьба с реакцией для выхода на новые пути жизни, первая революция, кровавая реакция, попытки парламентской борьбы за новый строй, разложение старого строя, вторая и третья революции, выход на новые пути.

Читаешь речи, очерки, воспоминания, встречи на жизненном пути и на каждом шагу в них вскрывается так много глубокого и вместе с тем тонкого, чувствуется на каждом шагу тот истинный прокурор, который ставит себе задачей вскрывать раны, указывать на все ненормальное и вредное, что уродует жизнь, которому ясны и причины уродства. Это одна сторона, необыкновенно важная для понимания жгучей необходимости падения старого строя, которая показывает нам, что медлить нельзя было, ибо начиналось разложение. С другой стороны, мы видим на тех же страницах живые образы людей, подготовлявших переход к новому; здесь с изумительной чуткостью, жизненностью и красотою изображены эти люди, которым пришлось действовать, разрушать и созидать, по мере возможности, новое. Мы видим, как зачастую сильным, выдающимся людям невозможно было в обстановке прошлого выявить свои силы и как неизбежна и необходима была революция там, где бессильна была эволюция.

Мы видим на страницах воспоминаний А. Ф. Кони и других людей - творцов вечных памятников искусства. Кони знал их лично и со свойственною ему чуткостью сказал о них много такого, что сказать мог лишь он и что говорит нам о них не только как о художниках, но и как о людях. Ведь Анатолий Федорович именно человека понимал особенно широко: он не идеализировал людей, тяжелая судебная школа открыла ему в них так много отрицательного и больного, что этих уроков жизни он никогда уже забыть не мог. Но эта же школа научила его тому, что раньше, чем осудить, надо понять, а когда поймешь, то почти всегда становится очень трудным осудить. Потому он судил о людях, но не судил людей, оттого так жизненно правдивы созданные им образы людей, которых он знал, а кого он не знал за свою долгую, яркую жизнь!

И мы читаем его книги и слушаем его, и благодаря ему лучше понимаем прошлое, часть которого и мы знаем, как очевидцы; понимая прошлое, понимаем и настоящее, а понимая его, горячо верим в будущее — новую жизнь, которой суждено стереть границы и разрушить стены, отделяющие одних людей от других. Для этого нужны люди, настоящие люди, и Кони показал нам, что у нас были люди, значит и будут — люди.

Сергей Ольденбург.

Адрес Пушкинского Дома при Российской Академии Наук.

Глубокоуважаемый и дорогой
Анатолий Федорович!

Сегодняшний знаменательный день и тот праздник, который мы справляем по случаю исполняющегося 80-летия Вашей жизни,—особенно дороги и близки Пушкинскому Дому при Российской Академии Наук. Учреждение еще молодòе, Пушкинский Дом с первых же шагов своей научной работы нашел в лице Вашем деятельного благожелателя и щедрого жертвователя; участием своим в Комиссии по созданию памятника Пушкину в Петербурге Вы мощно содействовали укреплению той мысли, что этот памятник поэту, в отличие от многих других, должен быть создан именно в виде научного историко-литературного института его имени. И это понятно: глубокий ценитель и знаток творений Пушкина, автор замечательной речи о нем, произнесенной в 100-летнюю годовщину дня его рождения, Вы принадлежите к небольшому числу лиц, вся жизнь которых протекала в атмосфере литературной. Крестник Лажечникова, Вы еще в рабочем кабинете Вашего родителя начали знакомство со многими и многими писателями нашими,—еще современниками Пушкина,—и на протяжении почти трех четвертей века были последовательно связаны со многими из наших литературных деятелей узами дружбы или близкого знакомства... Некрасов, Салтыков, Гончаров, Писемский, Тургенев, Достоевский, Лев Толстой, Горбунов, Апухтин, К. Р., Чехов, Короленко,—достаточно припомнить лишь этих Ваших знакомцев и друзей, не говоря о многих других, более или менее славных, достаточно представить себе характер Ваших к ним отношений и перечесть Ваши о них воспоми-

Центральная библиотека Н. К. П. С.

нания, чтобы понять и оценить Ваше значение в Русской литературе последних десятков лет. Ваша биография теснейшим образом переплетается с именами крупнейших наших писателей и поэтов, и многие их величайшие произведения непосредственно связаны с Вашею творческою мыслью.

Поздравляя Вас с сегодняшним днем, приветствуя в лице Вашем знатока и мастера Русского художественного слова, одного из Почетных Академиков Разряда изящной словесности Российской Академии Наук и тонкого литературного критика, Пушкинский Дом, на который Вы возложили обязанность быть вечным хранителем Вашего богатейшего личного архива,—выражает искреннейшее и живейшее пожелание, чтобы Вы еще многие годы радовали нас своим присутствием и дарили нам плоды своих трудов, как всегда являя пример неуклонного и неизменного служения светлым идеалам Русской литературы.

Адрес Толстовского Музея Библиотеки Российской Академии Наук.

Глубокоуважаемый
Анатолий Федорович!

Мы, представители Толстовского Музея, счастливы тем, что нам выпало на долю приветствовать Вас в день Вашего 80-летия. В Вашем лице мы как-то особенно явственно и осязательно приобщаемся к тому великому человеку, имени которого служим: Вы не только долгие годы находились с ним в дружеском общении, но даже были участником в его творческой работе, были родственны ему по духу. Не даром одно из величайших своих созданий—«Воскресение», Лев Николаевич называл Коневской повестью: основная ее мысль, так увлекшая Толстого, почерпнута им от Вас;

и она—эта мысль, которая проведена в «Воскресении», была настолько близка и дорога Вам, что сначала Вы сами думали написать рассказ для «Посредника» о Розалии—будущей Катюше Масловой. Разве то, что Вы и Лев Николаевич оба глубоко проникнись одной мыслью, оба перечувствовали ее, оба хотели ее выявить—не указывает разве это на Вашу взаимную духовную близость? Конечно, это не одна только точка соприкосновения Вас с Толстым. Если б Вы оба не стремились, хотя и разными путями, к одной цели, разве Толстой чувствовал бы к Вам такую любовь, делился ли бы он с Вами своими задушевными мыслями, говорил ли бы Вам то, чего никто не должен был знать? Вот почему через Вас идет луч света, горевший в Толстом, вот почему мы чувствуем в Вас то душевное тепло, которым был исполнен Толстой. И мы хотим, чтоб это тепло излучалось еще годы, эгоистически хотим, чтоб нам дольше можно было на себе чувствовать Ваше доброе воздействие.

Приветствие Ленинградского Государственного Университета.

Глубокоуважаемый и дорогой
Анатолий Федорович!

От имени и по поручению Ленинградского Государственного Университета приношу Вам искреннейшее поздравление с исполнившимся 80-ти летием со дня Вашего рождения. Наш Университет счастлив, он гордится тем, что Вы не один год принадлежали к его учено-учащему личному составу. В дни оны, Вы, уже славный тогда юрист, были одним из лучших украшений наших, когда в скромном, с оффициальной точки зрения, звании приват-доцента объявили свой известный курс судебной этики. После Октябрьской

революции Вы вступаете в состав Юридического Факультета профессором по кафедре криминологических наук и читаете один из основных, преподаваемых на факультете курсов — науку уголовного процесса. С открытием при нашем Университете Правового Научно - Исследовательского Института, Вы, в качестве действительного его члена, на всем протяжении его существования, неизменно принимаете живое и плодотворное участие в его работах и делаете в нем свои ценные доклады, всем нам, Вашим товарищам по этому ученому учреждению, хорошо памятные. Укажу только на один из них, прослушанный нами с необыкновенным интересом и с тех пор появившийся в печати, на тему: «Юридический и бытовой характер самоубийства».

Как все Ваши сообщения—исследования и лекции. рефераты и беседы—так и данное, рождает в слушателе и читателе чувство неизъяснимого наслаждения— одинаково и внешнею своею, и внутреннею стороною. Верно указано одним из Ваших биографов, что Ваша речь «изобилует образами, сравнениями, обобщениями и меткими замечаниями, придающими ей жизнь и красоту». Что же касается самой сущности Вашей речи, ее основного тона, ее морали, то едва ли я впаду в ошибку, если скажу, что и студентов, и нас Вы учили (пользуюсь Вашими же словами) «отличать преступление от несчастья, навет от правдивого свидетельского показания», учили относиться к подсудимому и ко всем вообще участникам в уголовном процессе незлобиво и с чувством меры, культурно-вдумчиво и человеколюбиво, братолюбиво.

И еще одна нить, нить важная и не последняя, связывает Вас с нашей alma mater. Один из учредителей — в семидесятых годах истекшего столетия, т. е. почти полвека тому назад—Юридического Об-

щества при Петербургском Университете, Вы были его неутомимым работником в разнообразнейших направлениях, были его, последним по времени, председателем. Во главе с Вами, как и с другими председателями Юридического Общества—назову только незабываемые среди русских юристов имена: Ник. Ив. Стояновского, Конст. Конст. Арсеньева, Макс. Макс. Ковалевского — Юридическое Общество при Петербургском Университете непрерывно стремилось к водворению у нас законности и права—права в единственном достойном смысле права—правды и справедливости; во главе и с Вами Юридическое Общество не уставало мужественно бороться, в самые тяжелые и суровые годы, с самодержавным режимом и с его не по разуму усердствовавшими слугами.

Таким образом, дорогой и высокочтимый Анатолий Федорович, Вы нам не чужой. Пусть Вы воспитанник не нашего, а старейшего, Московского Университета, но и наш Университет почитает Вас в равной мере своим, близким и родным. И, как близкому и родному, он сугубо и повторно, всем сердцем шлет Вам свое усердное поздравление, вместе с горячим пожеланием здоровья, сил, привычной бодрости и трудоспособности на долгие еще и долгие годы к общей всех нас и нашей России радости!

Сказал 10 февраля 1924 г. в Академии Наук
проф. М. Я. Пергамент.

Приветствие С. Ф. Платонова на вечере в честь А. Ф. Кони в Доме Ученых 11-го февраля 1924 г.

(Вторая половина XVII века).

Свете очей наших, господине честный Анатолие! Во дни наши, при прежних великих государех Московских, не знаеми быша человеци, нарицаемые

убилярове. А будет кого и нарицаша именем сим, Обиляром, и того почиташа еретиком злейшим, его же и сам папа римскый в сердцы своем возгнушася [1]). Обаче времена переменчивы суть и непостоятельны, и иже бысть еретик во дни ветхие, ныне же почитаем есть по чину великому и честному, и, якоже фимиамом, лестию и хвалами окуриваем есть на удивление православным народам. Но обаче, реку,—времена наши тяжки и род человеческий в согрешениях до конца увязе, и мы, худые, с ними такоже в слабость крайнюю впадохом,—и убеляров чтити готови есмы и руками им плескати и главами покывати [2]) и очами помизати и совсеми купно воспети и, в сладость всем, многолетие убеляру кликати. И тебе, господине, мы ныне вопием всеми гласы нашими: «Убеляре, ветхий денми, а духом младый, здравствуй на многая лета! Не еретик ты злый, а раб добрый, из пяти талантов сотворивый десять и глаголами и делы своими непрестанно бога славивый! Душе благосекнолиственная [3]), люди любившая и люди учившая не на зло, а на добро, не на кривду, а на правду, радуйся на многая лета»!

Примечания. (Первая половина XVIII века).

[1]) Убилярове заместо юбиляры здесь от неразумия а паче от невежества положено; к сему последующее об абеляре разсуждение уверяет быть не токмо неразумию, но и сущему глупству слагателя, понеже он зде гистории и разуму противное включил, ибо книги философические абеляра еретика быти не свидетельствуют и оного со юбиляры никакими качествы не сочетают.

[2]) Мнят некие люди, что на место главами покывати надлежит говорить и писать главами помавати; Но сие мню, ошибка, поелику помавание принадлежит более рукам, а кывание—главам.

[3]) Сложное речение сие дерзостный слагатель из акафиста усвоил и сим якобш с неба на землю низвел: прилично ли сие, разсуди сам, любомудрый читателю!

СТАТЬИ

I

А. Ф. Кони, как криминалист.

На мою долю выпала высокая честь дать в сегодняшнем торжественном заседании оценку заслуг А. Ф. Кони, как юриста и судебного деятеля. Приступая к исполнению возложенной на меня задачи, я чувствую всю ее трудность. Дать в сжатой форме надлежащую характеристику ученой и общественной деятельности А. Ф. так, чтобы его образ занял подобающее ему место в той галлерее наших судебных деятелей, которую так необыкновенно ярко изобразил сам А. Ф., можно лишь обладая его талантом. Тем не менее, принося дань своего глубокого и искреннего уважения А. Ф., я хочу попытаться своими слабыми силами объективно и беспристрастно набросать несколько штрихов для обрисовки его основных научных взглядов и его значения в русской науке уголовного права.

Имя А. Ф. Кони хорошо известно каждому русскому юристу, скажу более, каждому русскому образованному человеку. Кто не читал его талантливых «Судебных речей», где дается поистине художественный, психологический анализ личности преступника? Кто незнаком с его увлекательно написанными очер-

ками «На жизненном пути», где перед нами воскресают интересные картины только что прожитой полосы русской общественной жизни? Кто не знает его книги «Отцы и дети Судебной Реформы», этой мастерски изображенной в ряде отдельных биографий истории русского суда в эпоху, непосредственно следовавшую за введением Судебных Уставов 1864 г.? Кто не читал, наконец, его биографии доктора Гааза, этого чудака-филантропа, которого А. Ф. спас от мрака забвения, нарисовав чарующий образ бескорыстного деятеля, скромного, тюремного врача—друга заключенных? Русское общество хорошо знает и высоко чтит А. Ф., как выдающегося судебного оратора, увлекательного художника слова и талантливого литератора. Оно менее знает его, как юриста, как криминалиста, заслуги которого перед русской наукой признаны еще в 1890 г. Харьковским Университетом, возведшим его в звание доктора уголовного права honoris causa, и почти всеми нашими университетами, в том числе московским и петербургским, и юридическими обществами, избравшими его своим почетным членом.

Существует два типа ученых-юристов. Одни ученые творят свои труды в тиши своих кабинетов, плотно отгородившись от окружающей их реальной действительности; обложенные трудами своих предшественников в исследуемой ими научной области, но оторванные от жизни, они строят свои теории, мало прислушиваясь к ней и имея дело с отвлеченными правовыми формулами. То ценное, что они

дают в области своей науки, воплощается в жизнь часто не непосредственно ими, а лишь перейдя через ряд других людей, которые приспособляют выставленные ими формулы к потребностям действительной жизни. Но есть ученые и другого типа. Это — ученые, которые своим девизом ставят «из жизни для жизни»; они всегда имеют перед глазами реальную действительность, изучают ее и создают свои построения на основании того материала, который они черпают из самой жизни. Их кругозор выходит далеко за стены их кабинетов и результаты их трудов непосредственно ими же проводятся в жизнь.

Из А. Ф. Кони мог бы выработаться ученый первого типа. В своей первой ученой работе «О праве необходимой обороны», представленной в качестве кандидатской диссертации в Московский Университет в 1865 г. и напечатанной в Московских Университетских Известиях в 1866 г., он обнаружил все те данные, которые открывали перед ним обычную карьеру такого ученого. Эта юношеская работа А. Ф. показывает обширную для его возраста эрудицию, умение разбираться в сложных юридических проблемах и давать тонкий анализ действующего права. Судя по этой работе, можно было ожидать, что из А. Ф. получится обычный тип университетского профессора и кабинетного ученого. Но судьба устроила иное. Выступление А. Ф. на общественную арену совпало с моментом, когда русская жизнь переживала пору обновления, когда только что начали осуществляться скоро затем угасшие либеральные

идеи первых лет царствования Александра II и когда все, что было чуткого в русском обществе, не могло не пойти навстречу открывавшимся возможностям оздоровления всех сфер нашей общественности. А. Ф. Кони был охвачен этим общим порывом и предпочел открывшейся перед ним карьере профессора более скромную роль судебного деятеля в только что открывшемся новом суде. Но интерес к науке в нем не заглох, никогда не погасал и был оплодотворен от соприкосновения с живой действительностью.

У А. Ф. мы видим редко встречающееся сочетание в одном лице свойств, с одной стороны, опытного практика — судебного деятеля, горячо преданного идеям Судебных Уставов, бардом и наладчиком которых он был всю свою долгую жизнь и к которым он до сих пор не изжил своей первой юношеской любви, и, с другой стороны, видного ученого-юриста-догматика. Благодаря этому сочетанию понятно, что для А. Ф. закон не имеет значения голой безжизненной формулы. А. Ф. изучает право, имея всегда в виду его воплощение в жизнь. В основе всех его научных построений лежат те данные, которые предоставила в его распоряжение сама жизнь. И это пронизает все его произведения, включая и последнюю его работу, появившуюся в прошлом году, «Самоубийство в законе и жизни», где собран богатый, почерпнутый, непосредственно из жизни, материал. Иллюстрация научных положений примерами из действительной жизни, из богатого житейского опыта судебного деятеля —

обычный прием, который проходит красной нитью через все произведения А. Ф.

Во всех своих трудах А. Ф. являет собой ярко выраженный тип юриста эмпирика.

Переходя ближе к оценке значения А. Ф. Кони, как криминалиста, я остановлюсь на его работах, относящихся к области уголовного права, уголовного процесса и истории процесса.

По своим научным убеждениям А. Ф. примыкает к т. н. классической школе уголовного права. Он — решительный противник антропологического направления, которое он подвергает беспощадной критике. «В этом учении, говорит он, надо брать ценные практические открытия. Но юристы, которым дороги нравственные идеалы государства и человеческое достоинство, должны вооружиться против доводов и даже против основных положений этого учения, низводящего отправление правосудия к какой то охоте с применением антропометрии». Но, будучи классиком, А. Ф. менее всего является сторонником т. н. Begriffsjurisprudenz и в то же время воспринимает те идеи, которые выставляет уголовно-социологическая школа, хотя он нигде прямо не высказывается в ее пользу. Так он признает, что «физические, антропологические и социальные условия, в круге которых был замкнут виновный, должны быть выяснены по отношению к нему с возможной точностью». Исходя из этого, он неоднократно подчеркивает, что предметом уголовного исследования должно быть «преступное состояние» человека. Поэтому лич-

ности преступника А. Ф. вообще придает огромное значение. Он постоянно указывает на необходимость выяснять мотивы преступника, приведшие его к совершению преступления, а также тщательно изучать его характер не только на основании того, что им сделано в конкретном случае, но на основании вообще того, что он представляет из себя в действительной жизни. В его судебных речах проходит перед нами целая галлерея преступников разных типов, причем в особенности мастерской психологический анализ он дает людям, страдавшим дефектами воли.

В соответствии с этим основным своим взглядом на значение личности преступника, А. Ф. всегда останавливается особенно тщательно на тех элементах общего состава преступления, которые относятся к внутренней его стороне. Его внимание останавливает вопрос о вменяемости и о душевных болезнях, как обстоятельстве, исключающем вменяемость. Он тонко анализирует понятия намерения, умысла, заведомости, предумышленности, запальчивости и т. п., как они понимались нашим старым правом, указывая роль и значение каждого из этих понятий в составе преступления.

С той же идеей о роли личности преступника в составе преступления А. Ф. подходит и к вопросам особенной части уголовного права, и догматический анализ, который он дает отдельным преступлениям, представляет у А. Ф. свои особенности, отличающие его от того обычного анализа преступлений, который имеется в курсах уголовного права. Каждое

преступление рассматривается им не только обстрактно, не только в том виде, в каком оно изображено в законе, но как явление, наполненное конкретным жизненным содержанием, в его возможной жизненной обстановке, которой он всегда придает особенное значение для оценки преступления. Так, напр., говоря о подлоге документов и подчеркивая существенные элементы этого преступления, как они описаны в законе, А. Ф. говорит вместе с тем, как вообще совершается в жизни подлог, какие формы его совершения встречаются на практике, и с какими целями обычно совершается это преступление. Подобным анализом дается руководящая нить судебной практике при рассмотрении каждого отдельного случая подлога. Нельзя не признать, что такой прием несомненно дает практику гораздо больше, чем рассуждения об общих элементах состава этого преступления, указанных в законе.

И другие преступления точно также оживлены А. Ф. таким методом их исследования. В своих речах он дает анализ убийства в разных его видах, развивает целое учение о клевете и диффамации, подробно рисуя разные формы совершения этих преступлений. С тем же приемом подходит он, напр., к присвоению и растрате — преступлениям, которые для юриста представляются равнозначащими, но самый характер которых, с точки зрения оценки личности преступника, имеет далеко неодинаковое значение. Так А. Ф. говорит: «между растратой и присвоением существует серьезная нрав-

ственная разница, и о какой бы сильной распущенности ни говорила растрата, расбрасывание чужих денег, но она все-таки по отношению к обвиняемому лучше, чем та преступная предусмотрительность и запасливость, которая характеризуется присвоением, в котором место увлечения занимает уже расчет». Даваемый им анализ понятий превышения власти и бездействия власти ценен и любопытен не только с юридической, но и психологической точки зрения. Так он дает следующую меткую характеристику психики должностного лица, совершающего превышение власти: бывают люди «обольщенные, прежде всего, созерцанием себя во всеоружии отмежеванной им власти—они только о ней думают и заботятся и возбуждаются от сознания своей относительной власти. Для них власть обращается в сладкий напиток, который быстро причиняет вредное для службы опьянение».

Следует еще отметить, что в свое время имел особое значение тот строго-догматический анализ религиозных преступлений, который А. Ф. давал в своих кассационных заключениях. Он всегда боролся против распространительного понимания таких преступлений, как совращение, принадлежность к расколу, к запрещенной секте и т. п., и немало способствовал тому, что в нашей судебной практике постепенно стала осуществляться тенденция к прекращению излишнего рвения в области преследования противников господствовавшего вероучения. Вообще борьбе с административным произволом А. Ф. немало уделил внимания, в частности, стремясь

к возможно узкому толкованию той статьи уст. о нак. (ст. 29), которая говорила о неисполнении обязательных постановлений и законных требований и распоряжений органов власти.

Как процессуалист, А. Ф. ценен прежде всего тем, что он дал нам высокие и, можно с уверенностью утверждать, до сих пор еще не превзойденные у нас образцы обвинительных речей, резюме председателя суда, кассационных заключений и докладов по делу в кассационном разбирательстве.

В своих обвинительных речах А. Ф. показывает, как должен подходить к своей задаче обвинитель. Он создал нам образцы особого прокурорского красноречия, красноречия без пафоса и громких фраз, но с углубленным анализом преступления и преступника. По верной характеристике А. Ф. прокурор. это — «публично говорящий судья». В своих речах он именно и изобразил такого прокурора, — не обвинителя во чтобы то ни стало, а обвинителя, объективно разбирающегося во всех pro и contra обвинения, выясняющего те побудительные причины, которые могли заставить подсудимого совершить преступление, и стремящегося в оценке доказательств осторожно разбираться во всем том, что может пролить надлежащий свет на преступление. В напутствиях присяжным заседателям А. Ф. дал примеры того, как должен действовать беспристрастный председатель, не гнущий ни в сторону оправдания, ни в сторону обвинения и не навязывающий своего взгляда другим. В кассационных заключениях он наглядно ри-

сует, как следует производить строго-юридический анализ тех нарушений закона, которые должны влечь за собой отмену приговора по уголовному делу. Наконец, его доклады, в качестве сенатора по отдельным делам при кассационном их разбирательстве точно также дают нам образцы творчества судебного деятеля в данной сфере.

Процессуальным вопросам А. Ф. уделяет вообще очень много внимания во всех своих трудах, придавая исключительное значение судебной деятельности, как специфической функции государственной власти. Суд, по его словам, «не может быть ни механическим применителем безжизненных норм, ни послушным орудием в руках экспертов-антропологов, ни ослепленным укротителем людей преступного типа, ни бездушным органом для обезвреженія «опасных» преступников». В другом месте он называет суд «школой для народа, из которой, помимо уваженія к закону, должны выноситься уроки служения правде и уваженія к человеческому достоинству». Особенность деятельности суда А. Ф. видит «в работе шестого чувства—чувства совести, в работе, где участвует внутренний взор, устремленный в глубь сознания, и внутренний слух, чуткий к голосу этой совести». «Судейская совесть, прибавляет он, не лишенный значения звук, но сила, поддерживающая судью и вносящая особый, возвышенный смысл в творимое им дело». Отсюда преклоненіе А. Ф. перед судом присяжных заседателей, как судом совести, и постоянное горячее его отстаиваніе во время грозившей ему опасности. Отсюда

же особая важность с его точки зрения проведения этических начал в уголовном судопроизводстве.

В этом отношении особенного внимания заслуживает работа А. Ф. «О нравственных началах в уголовном процессе». В ней он затрагивает ряд этических вопросов, возникающих при отправлении уголовного правосудия, и выдвигает те нравственные требования, которые закон предъявляет к судебному деятелю в его практической деятельности. По словам А. Ф., «мерилом дозволительности приемов судоговорения должно служить то соображение, что цель не может оправдывать средства, и что высокая задача правосудного ограждения общества и вместе защиты личности от несправедливого обвинения должна быть достигаема способами, не идущими в разрез с нравственным чувством». Придавая исключительное значение нравственному началу в жизни, А. Ф. находит, что юристу следует изучать не только судебную практику, но и судебную этику, как учение о приложении общих понятий о нравственности к той или иной отрасли специальной судебной деятельности, и что поэтому в общий курс уголовного судопроизводства должен быть введен особый отдел, посвященный судебной этике.

Из требования судить по совести вытекает и другое требование, которое А. Ф. предъявляет к суду. Высказываясь против автоматического применения закона по его буквальному смыслу, он находит, что суды должны искать разъясняющие указания при применении закона в общем смысле законов. По-

этому А. Ф. — один из немногих наших криминалистов, сторонников свободного судейского правотворчества, и горячий защитник допустимости применения уголовного закона по аналогии.

Будучи таким образом юристом-эмпириком, А. Ф. в то же время является юристом-моралистом.

Из числа отдельных вопросов уголовного процесса, которые всегда особенно интересовали А. Ф. и к которым он неоднократно возвращается в своих работах, следует отметить вопросы о свидетельских показаниях, об экспертизе и о профессиональной тайне.

Значению свидетельских показаний А. Ф. был посвящен особый доклад, прочитанный в петербургском юридическом обществе в 1894 г. Не соглашаясь с теми приемами оценки свидетельских показаний, которые выдвигались в то время экспериментальной психологией, А. Ф. выставляет свою схему тех требований, которые должны быть предъявлены к свидетелям на суде для оценки их достоверности, указывая на необходимость учитывать темперамент свидетеля, его пол, возраст, поведение на суде и физические недостатки, и находя, что «быть может, накопленный путем судебного опыта материал даст возможность создать более или менее типичные характеристики главнейших разновидностей между свидетелями».

Судебной экспертизе посвящена вышедшая в 1923 г. работа А. Ф. «Суд, наука, искусство»; в ней на основании своего судейского опыта, он указывает на роль и значение экспертизы в уголовном суде, на ее

разновидности и на порядок ее производства, настаивая на том, что суду должно принадлежать право проверки экспертизы на основании здравого смысла и всей совокупности обстоятельств дела.

Вопрос о значении профессиональной тайны сводится у А. Ф. к общему вопросу о взаимоотношении публичного и частного интереса, к вопросу о том, как примирить требование хранения тайн в интересах частного лица и требование суда знать все относящееся к рассматриваемому делу, в интересах публичных. По этому вопросу А. Ф. дает подробный догматический анализ постановлений нашего права и указывает, как в данной области должны быть согласованы непримиримые на первый взгляд требования общественного и частного интереса.

Не мало ценных указаний можно найти в трудах А. Ф. и по вопросу об оценке силы отдельных доказательств в уголовном процессе, в частности сознания подсудимого. Исходя, как и всегда, из психологического анализа, А. Ф. дает следующее меткое указание относительно значения сознания подсудимого, в связи с той стадией процесса, на которой оно сделано. «Подозреваемый, говорит он, сознается лишь в неизбежном, надеясь уйти от суда; обвиняемый сознается позднее, потому что надежда уйти от суда меркнет в его глазах; подсудимый, пройдя школу размышления, а иногда и советов товарищей по несчастию, снова выбрасывает из своего признания все то, что можно выбросить, все, к чему не приросли твердо улики, ибо у него снова блестит

надежда уйти уже не от суда, а от наказания». Такими ценными и верными замечаниями полны работы А. Ф.; отсюда их особенное значение и для научного исследователя и для практического деятеля.

При оценке деятельности А. Ф., как криминалиста, нельзя обойти молчанием его значения, как историка нашего суда. В своих талантливых биографиях «отцов и детей судебной реформы» А. Ф. с одной стороны изображает историю составления Судебных Уставов 1864 г., с другой—первые шаги деятельности новых судов. Жизнеописания «отцов», т. е. творцов Судебных Уставов, и «детей», т. е. их ближайших учеников и практических применителей судебной реформы к жизни, дают весьма многое для характеристики нашего реформированного суда в первые медовые, к сожалению, очень короткие, месяцы его существования, а также для выяснения того, как внедрялись в нашу общественную жизнь новые и чуждые ей во многом начала.

Наконец, нельзя не отметить, что своей биографией доктора Гааза А. Ф. дал талантливо и увлекательно написанную страницу из истории тюремного заключения в России. Относясь вообще отрицательно к этому наказанию и называя его «школой взаимного обучения праздности, пороку, разврату и преступлениям», А. Ф. описывает сжато, но весьма картинно, мрачное состояние русской тюрьмы в первую половину прошлого века, на фоне которого особенно резко выступает светлая личность Гааза.

Обозревая всю продолжительную деятельность А.Ф., как ученого и судебного практика, и подводя ей итоги, нельзя не признать, что лучшие идеалы человеческой культуры, нравственные жизненные начала, уважение к личному достоинству человека и принципы гуманности и справедливости — вот то, что всегда являлось для А. Ф. его путеводной звездой. Этим идеалам он служит уже многие годы и теперь в своей прекрасной старости он так же им верен, как верен был им в дни своей молодости.

А. Ф. достиг преклонного возраста, но не утратил веры в правильность и истинность всего того, чему он поклонялся всю свою жизнь, не утратил вместе с тем и трезвости мысли и работоспособности. И наблюдая в нем попрежнему пылающий и не потухший, несмотря на все жизненные невзгоды переживаемого времени, огонь стремления к истине, добру и красоте, невольно вспоминаешь то, что А. Ф. писал в 1895 г. в своей статье «О предельном возрасте для судей». Он говорил: «Действительно ли старость уж так беспомощна сама по себе и бесполезна для окружающих? Разве «охлаждены лета» безусловно обрекают человека на жизнь в прошлом, в области воспоминаний, делая его в действительной и быстро текущей жизни настоящего лишь докучным гостем, запоздавшим уйти? Уже ли старику только и остается, что перебирать бесполезными руками засохшие цветы с забытых могил и взирать мертвенными и безучастными взорами на то, как вокруг него, окруженного нетерпеливым внешним почтением,

кипит молодая кровь и прилагается к живому делу избыток бодрых сил? Жизнь говорит нам другое. Запад, где деятельность более яркая и напряженная, где борьба за личное и материальное существование гораздо острее, чем у нас, — этот Запад блестит в последнюю четверть века именами старцев, которым могли бы позавидовать многие молодые... Но, у нас, продолжает он, даже в туманном Петербурге, при всей неравномерности распределения умственного труда, при тяжелых условиях физической жизни, вызываемых дурным климатом, отсутствием света и тепла, при скудости ярких оживляющих впечатлений живут и действуют старцы, у которых молодежь может научиться энергии и деятельной любви к своему труду...»

Так говорил А. Ф. около тридцати лет тому назад. Изображенным им тогда старцем оказался теперь он сам... Завидна старость человека, могущего во всеоружии своих знаний и житейского опыта быть еще учителем других и при неиссякающей с годами трудоспособности продолжающего служить тому высокому делу, которому он служил всю свою долгую жизнь,— интересам общечеловеческой культуры и возвышенным нравственным началам.

Проф. А. Жижиленко.

10 февраля 1924 г.

„Коневская повесть“ Л. Н. Толстого

(К истории создания «Воскресения»).

Имя А. Ф. Кони с именем Л. Н. Толстого, помимо многого другого, особенно определенно и прочно связано, благодаря роману «Воскресение», — произведению, которое в дневниках и письмах Л. Н. обычно называл «Коневской повестью», потому что всегда помнил, что его тема, его основная мысль дана ему именно Анатолием Федоровичем.

Как известно, в бытность свою в Ясной Поляне в июне 1887 г. А. Ф. Кони рассказал Л. Н. Толстому один случай из судебной практики, имевший место в 1870 г.г., в котором ему самому, как прокурору Петербургского Окружного Суда, пришлось принять некоторое участие, — случай, оставивший в нем сильное впечатление своей глубокой психологической подкладкой.

Из воспоминаний А. Ф-ча мы знаем, что будущая Катюша Маслова «Воскресения» некая Розалия Онни была дочь вдовца арендатора мызы, принадлежавшей одной богатой петербургской даме, где то в Финляндии. Когда Розалия была еще девочкой, отец ее серьезно захворал и, узнав от врача, что у него рак

желудка и что он скоро должен умереть, просил собственницу мызы не оставить его дочки. Дама, действительно, когда умер арендатор, приласкала сироту, взяла в дом, баловала и наряжала; потом девочку сдали в девичью, и там она и жила до 16-тилетнего возраста, когда на нее обратил внимание только что окончивший лицей молодой человек, некий -ский, родственник хозяйки; гостя у последней на даче, он соблазнил девушку. Когда сказались последствия соблазна, пострадал, конечно, не он, а она. Выгнанная от возмущенной ею дамы, брошенная соблазнителем, «она родила, сунула ребенка в воспитательный дом и стала спускаться со ступеньки на ступеньку», пока, наконец, не очутилась в одном из самых грязных домов терпимости, носившем название Малинники, в каком то переулке возле Сенной. Там она украла у пьяного «гостя» 100 р., которые были затем спрятаны ее хозяйкой, и привлечена за эту кражу к суду с присяжными. Судьба сделала так, что соблазнитель Розалии попал в число присяжных, судивших ее, и в несчастной проститутке, обвиняемой в краже, узнал свою жертву. То, что увидел он, его потрясло до глубины души. И он решился во что бы то ни стало попытаться искупить свой грех перед нею, жениться на ней, если только она согласится на его предложение. Желание его передать ей письмо без предварительного прочтения столкнуло его с А. Ф. Кони, которому он принес жалобу на товарища прокурора, заведывавшего тюремными помещениями и отказавшего ему передать на таких условиях письмо аре-

стантке. Чисто по отечески отнесшись к -скому, А. Ф. Кони посоветовал ему поглубже вдуматься в принятое им решение, приглядеться к Розалии. Но его решение было непреклонно. Случайность не дала осуществиться браку: свадьба была отложена из за поста; в конце же поста Розалия заболела сыпным тифом и умерла в тюремной больнице. Так в действительной жизни драма окончилась более просто, чем в романе Толстого. Жених Розалии был сильно поражен ее смертью; но скоро время излечило его раны, после вспышки высокого нравственного подъема, раскаянья за прошлое и горячей жажды самопожертвования он снова вернулся к прежней деятельности, продолжал свою служебную карьеру, был вице-губернатором в одной из внутренних губерний — и затем след его потерялся.

Рассказ о Розалии, как припоминает А. Ф. Кони, был выслушан Толстым с большим вниманием, и на другой день утром он сказал А. Ф-чу, что «ночью много думал по поводу его». Интересно отметить, что уже тогда он думал о том, что было рассказано Кони, не только как о событии, но как о теме для литературного произведения, и у него в голове определился уже и план его, что «его перипетии надо изложить в хронологическом порядке». Увлеченный тогда изданиями для народа и всячески способствовавший деятельности «Посредника», Л. Н. советовал А. Ф. Кони написать рассказ для этого книгоиздательства. Хотя А. Ф. тогда же стал отказываться от писания, говоря, что такую тему под силу разработать только либо Достоев-

скому, либо Толстому, а так как Достоевского уже не было в живых, то только Толстому, Л. Н. все-таки считал за ним рассказ о Розалии Онни, как рассказ о событии, сильно захватившем А. Ф-ча «своим глубоким и сокровенным смыслом», событии, бывшем, по словам Кони, «не простым случаем, а откровением нравственного закона», «проявлением высшей справедливости».

И Л. Н. ждал от А. Ф-ча рассказа; вскоре после возвращения Кони из Ясной Поляны в Петербург он прислал поручение П. И. Бирюкову, который тогда работал в «Посреднике», побывать у Кони, и сообщает кстати, что А. Ф. собирается написать рассказ в «Посредник», от которого, — как он выразился, «я жду многого, потому что сюжет прекрасный». Позже Л. Н. написал самому А. Ф-чу с вопросом, пишет ли он. Несмотря на просьбу А. Ф. Кони к Толстому взять на себя «написать на этот сюжет произведение, которое, конечно, будет иметь глубокое моральное значение», Л. Н. все на него надеялся. Но мысль, вложенная в его рассказ, не давала Толстому покоя. Думаем, что такое проникновение этим сюжетом, такое увлечение им имело своей причиной и нечто личное, и оттого эта печальная повесть еще сильнее захватила Толстого. «Вот вы пишете про меня все хорошее», сказал как-то раз Л. Н. П. И. Бирюкову в его приезд в Ясную Поляну в 1910 г.:—«это неверно и не полно; надо писать и дурное». И потом признался ему в том, что до старческих лет тяготило и мучило его: «это преступление», сказал он,—

ся совершил с горничной Машей, жившей в доме моей тетки; она была невинна; я ее соблазнил; ее прогнали и она погибла *). Яркое тяжелое воспоминание об этом событии вспыхнуло в Л. Н-че при рассказе Кони о Розалии; и то, что ощутил и пережил-ский при виде Розалии в Окружном Суде, несомненно, всколыхнуло и в нем самом то, что когда то давно сам он, Лев Николаевич, пережил и перестрадал. Рассказ о-ском и Розалии был отчасти и рассказ о нем самом и Маше, горничной Т. А. Ергольской. И, поэтому, он особенно хотел, точно из желания самобичевания, чтоб это было написано.

В апреле 1888 г., не дождавшись от А. Ф-ча рассказа, Л. Н. стал определенно думать о его написании и просит П. И. Бирюкова побывать у Кони и спросить его, «начал ли он писать обещанный рассказ», а если нет, то не отдаст ли он ему «тему этого рассказа». «Очень хороша и нужна», добавляет Л. Н. и тут же пишет: «писать головой очень хочется и знаю, что нужно, а не могу — сердцем не тянет». Всю весну, лето и осень в Ясной Поляне он не писал — сознательно «не работал пером», уходя целиком в крестьянские работы. «Хочется и писать иногда, но думаю, что это соблазн», писал он П. И. Бирюкову, «потому что хочется головой, т. е. говорю себе: как бы приятно, по примеру прежних лет, иметь работу, в которую бы уходить по уши, хочется голо-

*) Бирюков П. И., Л. Н. Толстой. Биография. Т. 3 (Берлин), стр. 564 — 565.

вой, а не всем существом. И потому думаю, что это соблазн. Вообще я с нынешнего года ступил на новую ступеньку — может быть, она покажется вниз для других, потому что не хочется писать и говорить не хочется..., но для меня оно вверх, потому что меньше зла к людям и радостнее жить и умирать». От старой привычки «от жизни уходить в раковину писания — пренебрегать жизнью (отношениями с людьми) из-за писания» Л. Н-чу, правда, сначала было трудно отвыкать и не писать было скучно, но потом, и переехав в Москву, он продолжал это «воздержание» и, хотя ему и хотелось иногда, как он писал Н. Н. Ге, «по привычке, по себялюбию, по желанию отуманиться, уйти от жизни», но уже не было «той непреодолимой силы, которая привлекла бы к писанию», не было «того снисходительного суда к себе, который, как прежде, одобрял все, и не пишешь, и чувствуешь какую то чистоту в роде как от некурения».

Так решение Л. Н-ча самому взяться за литературную разработку глубоко захватившей его темы, рассказанной ему А. Ф. Кони, совпало с обстоятельствами, совсем отвлекшими его от писания вообще, совпало с наложенным на себя воздержанием. Это воздержание, нарушаемое только письмами, длилось весь 1888 год и оборвалось в начале 1889 г. горячим протестом против празднования Татьянина дня — известной статьей «Праздник просвещения». Потом, начиная с января по май, Л. Н. работал над статьей по поводу «Севастопольских воспоминаний» А. И. Ер-

шова — протестом против войны, и дальше пошли одна за другой разные работы, перебивая друг друга, заслоняя одна другую и заслоняясь другими. К марту относятся первые наброски «Плодов просвещения», тогда же Л. Н. начал писать «Об искусстве». В апреле, как читаем в дневнике, у него явилось желание «писать новое», но нового он тогда не начал, «перечел только все начала и остановился на Крейцеровой сонате», которая была начата два года назад. «На тему писать не могу», приписано тут же, может быть, с мыслью о теме, данной А. Ф. Кони.

Теперь Л. Н-ча особенно захватила Крейцерова соната, которая была закончена «на черно» в июле, потом вторично в октябре и снова была пересмотрена в декабре. В ноябре писалась повесть «Дьявол», потом в декабре опять «Плоды просвещения». Рассказ о Розалии отошел на задний план. Только в конце 1889 г. 6 декабря в первый раз в дневнике упоминается о «Коневском рассказе». «Просмотрел, вычеркнул, поправил, прибавил Крейцерову сонату всю. Она страшно надоела мне. Главное тем, что художест[венно] неправильно, фальшиво. Мысли о Коневском рассказе все ярче и ярче приходят в голову. Вообще нахожусь в состоянии вдохновения 2-ой день. Что выйдет — не знаю». . И далее приписано: «Верю, что во мне сила твоя, данная для исполнения дела твоего. Дело же твое в том, что[б] преувеличить силу твою в себе и во всем мире». Потом 17 декабря Л. Н. снова записал о будущем своем рассказе: «Смутно набираются данные для

изложения учения и для Коневской повести. Хочется часто писать и с радостью думаю об этом». Но и тут другие работы и события все перебивали течение мысли о Коневской повести.

Наконец, 26 декабря утром, — как читаем в дневнике Л. Н-ча, — он «неожиданно стал писать Коневскую повесть и кажется недурно». Судьба сохранила эту рукопись, которая тогда показалась Л. Н-чу не дурной, — и теперь она перед нами. Что это именно она — первый набросок «Воскресения» — указывает дата, которая проставлена над текстом на первой странице: «26 декабря 89, Я[сная] П[оляна]». Рукопись эта, хранящаяся ныне в Библиотеке Академии Наук (из архива В. Г. Черткова), представляет собою небольшую тетрадь в четверку, на 18 листах; в тексте много вычерков и переделок; некоторые страницы зачеркнуты целиком и заменены приписками на полях, написанными мелким, сжатым почерком; заглавия нет — для него оставлено пустое место; очевидно, в этот начальный момент заглавие, выражающее общую мысль произведения, еще не соединялось с замыслом автора.

Припомним, что в июне 1887 г., после ночи, в которую Л. Н. много думал про рассказанную накануне А. Ф. Кони печальную повесть о Розалии, он говорил, что ее «перипетии надо изложить в хронологическом порядке». И действительно, взявшись 26 дек. 1889 г. за писание, он именно и стал писать — хронологически, не так, как написал потом, когда начал свой роман с ведения Масловой в Окружной Суд на судебное заседание. Первый набросок

Коневской повести начинается так: «Это было ранней весной, в страстную пятницу. Марья Ивановна и Катерина Ивановна Юшкины, старые богатые девицы, жившие в своем именьице под губерским городом, были неожиданно обрадованы приездом племянника Валерьяна Юшкина, только что поступившего в стрелковый батальон императорской фамилии (это было в начале Севастопольской войны)»...

В рукописи только начало повести — то, что впоследствии, в том или ином виде, нашло себе место в главах XII — XVIII и XXXVII последней редакции «Воскресения». Кончается набросок изображением зала судебного заседания. Порядок изложения в общем сходен с последней редакцией. Его нарушает только иначе по времени и по содержанию изложенный эпизод главы XXXVII. В последней редакции здесь рассказывается, как Катюша в осеннюю дождливую, ветреную ночь, узнав о проезде мимо них Нехлюдова, подговорив с собою девочку, кухаркину дочь Машку, побежала на станцию, как увидала его в ярко освещенном окне вагона 1-го класса, когда поезд уже стал двигаться, и она даже не могла окликнуть его. «Измученная, мокрая, грязная она вернулась домой, и с этого дня в ней начался тот душевный переворот, вследствие которого она сделалась тем, чем была теперь. С этой страшной ночи она перестала верить в бога и в добро... Он, которого она любила, и который ее любил — она это знала, — бросил ее, надругавшись над ее чувствами»... В первом наброске это событие отнесено ко времени

отъезда Валерьяна от тетушек в первый раз, когда еще он ехал на войну. Эти строки одна из самых ярких, красочных и захватывающих картин первого наброска.

Интересно отметить, что несмотря на то, что целые годы отделяют писание этого начального безыменного наброска от того времени, когда в последний раз чеканкой мастера Толстой окончательно отделал свое «Воскресение», некоторые места наброска почти буквально сходны с печатной редакцией. Очевидно, тетрадь, ныне хранящаяся в Рукописном Отделении Академической Библиотеки, не была забыта Толстым, когда в 1895 году, перебирая замыслы своих литературных произведений, он остановился на Коневском рассказе; она была у него под рукой, и он внимательно вчитывался в ее текст, важный для него, конечно, не общими мыслями — они были ясны и без того, — а именно мелочами, следствиями наблюдений, как эскиз красок важен художнику для его картины.

Дата, поставленная в начале рукописи, несомненно указывает только момент начала писания первых страниц. «Неожиданно» и «кажется не дурно» начав писать свой рассказ 26 декабря, Л. Н. продолжал его и в следующие дни, но как будто с меньшим удовлетворением в работе, с тяжелыми мыслями в голове. В эти дни в Ясной Поляне было большое оживление, шла суета; вся яснополянская молодежь — и постоянные обитатели дома Толстых, и приезжие из Тулы и из Москвы — готовилась к исполнению на

домашней сцене «Плодов просвещения». Веселье и беззаботность, которые царили в эти дни в яснополянской усадьбе, заражали и Л. Н-ча; он присутствовал на репетициях, поправлял свою пьесу и не только у себя за столом в кабинете, но на лету, во время игры, под впечатлением удачного исполнения, веселясь и радуясь вместе с молодежью. Но когда он оставался наедине с самим собою, оживление сразу падало в нем, и он особенно напряженно чувствовал суетность и ненужность того, что делалось вокруг него; иногда ему казалось, что и всем другим так же тяжело, как ему. В одну из таких минут 27 декабря он отметил у себя в дневнике: «Писал немного Коневскую повесть» и затем сейчас же: «Тяжело от лжи жизни, окружающей меня и того, что я не могу найти приема указать им, не оскорбив их, их заблуждение. Играют мою пьесу и, право, мне кажется, что она действует на них и что в глубине души им всем совестно и от того скучно. Мне же все время стыдно; стыдно за эту безумную трату среди нищеты..» «Вчера была репетиция — писал он в тот же день,— пропасть народа, всем тяжело...». Но было ли всем тяжело, было ли все время тяжело и самому Л. Н-чу среди окружавшей его молодежи, оживленной не только своею молодостью, но и старым хозяином — душою этого молодого общества!

30 декабря был спектакль. «Гостей съехалось сколько могла вместить зала», пишет в своих воспоминаниях А. В. Цингер; «Л. Н., оживленный, переходил от зрителей к актерам». В эти дни,

29-го, 30-го и 31-го Л. Н. «пробовал писать Коневскую повесть. Немного поправил, но вперед не пошел. Все время были репетиции, спектакль, суета, бездна народа, и все время мне стыдно...». Через два дня, 3 янв. 1890 года в дневнике есть еще запись о работе над повестью: «Утром поправлял «О жизни» и начал б[ыло] Коневскую повесть». После этого три недели слишком нет упоминаний о повести; только под 27 янв. есть неопределенное упоминание о ней. В эти три недели и следующие за ними две было не до нее: у Л. Н-ча шла работа над исправлением «Плодов просвещения» и тогда же писалось «Послесловие» к «Крейцеровой сонате».

В феврале 1890 г. видим новый порыв в сторону Коневской повести: под 11 числом в дневник занесена любопытнейшая запись, чрезвычайно важная и для истории создания первой редакции «Воскресения», и в частности для нашей рукописи. Это целый план начальной части повести, наскоро набросанный, яркий в своих намеках, отрывочными словами рисующий целые картины. Здесь мы читаем:

«Гуляя, очень много думал о Коневской повести. Ясно все и прекрасно. 1) Он не хотел обладать ею, но сделал это, потому что так надо — ему кажется. Она прелестна в его воображении. Он улыбается и ему хочется плакать. 2) Поездка в церковь, там она, белое платье, поцелуй. 3) Старая горничная берет деньги, но смотрит грустно. 4) Ст. горничная фаталистка, Катюша одинока. 5) Она, увидав его при проезде, хочет под поезд, но садится и слы-

шит ребенка в чреве. 6) Он спрашивает у тетки, где она. У помещика в горничных. Дурно живет в связи с лакеем. И ей нельзя не быть в связи: в ней разбужена чувственность. 7) Он в волнении спрашивает: и вы прогнали? И очень она плакала? И я виноват? и т. д. 8) Попробовал ambition — скверно, не по характеру, за границу — Париж — разврат — скверно. Осталось чтение, изящество, охота, карты, примёры. Волоса седеют— тоска».

Обработка этого плана началась 16 февраля: «Писал Коневскую повесть не дурно».

Это наслоение в работе над первым очерком находит ясное отражение в тетради, хранящейся в Академической Библиотеке. Можно определенно сказать, основываясь на бумаге вставных листов, на цвете чернил в приписках и на других особенностях письма, что тетрадь, когда ее начал писать Толстой, заключала в себе 12 листов. Потом, между лл. 4 и 5 было вставлено 5 листов, несколько другого формата, на которых было написано то, что в плане 11 февраля стоит под №№ 1 и 2. Вставка начинается словами: «Он знал, что ему надо ехать, и что не зачем оставаться на день, два, три, неделю даже у теток — ничего из этого не могло выдти, но он не рассуждал и остался, потому что не мог уехать» и пр. И далее изображается зародившаяся в Валерьяне любовь, описывается заутреня, христосование, те минуты счастья обоих молодых людей, в которые любимый человек представляется «и лучше и дороже

всего», потом первое свидание в сенях девичьей. Эти удивительные страницы, написанные — как отметил сам Л. Н. 16 февраля — «не дурно», оставили свой глубокий след в тексте «Воскресения» до последней его обработки.

Чернилами того же цвета, как вставка, сделан ряд поправок и вставок в текст и также написано в тетради то, что помечено в плане №№ 6, 7 и 8. Чрезвычайно ярка и красочна характеристика Валерьяна. Благодаря хронологичности рассказа в наброске, читатель знакомится в первый раз с Валерьяном, как был он тогда, когда приехал к теткам и пленился Катюшей, молодым красавцем - офицером самого аристократического в то время полка, в полукафтане с галунами, счастливым, искренно увлекающимся и всеми любимым. Поэтому все его переживания представлены более просто, более непосредственно, чем в «Воскресении», где молодой Нехлюдов рисуется нам уже сквозь призму долгих лет, превративших его из юноши полного увлечений в зрелого, умудренного опытом жизни и хорошо себя знающего человека. Искренняя натура Валерьяна особенно отчетливо изображена в его покаянии перед теткой, когда, по окончании войны, заехав в деревню, он узнал про Катюшу:

«Он вечером вошел в комнату к Катерине Ивановне, где она делала пасьянсы после обеда. Она думала, что он хочет погадать, но он стал распрашивать ее о Катюше. Он признался во всем тетушке и, распрашивая

ее, постоянно повторял: Тетинька, ведь я мерзко поступил? Подло? Ведь это подло? Все, что рассказала о Катюше добрая Катерина Ивановна о том, как она скучала, как читала Пушкина, стала рассеянна, как читала «Под вечер осенью ненастной», ужасно волновало его. На него жалко и страшно было смотреть, когда он с жалким выражением лица переспрашивал по нескольку раз, как все было, особенно то, что мучало его: так и сидела молча в слезах? Так и сидела и читала? Тетинька, ведь я мерзавец. Правда, это гадость. Да ведь надо поправить. Когда он узнал, что она была беременна, не было конца его распросам... Но когда тетка сказала, что она совсем испортилась (по сплетням деревенским все было известно у тетушек), Валерьян стал успокаиваться. Да, но все-таки гадко с моей стороны. А какая милая, какая прелесть была, думал он».

Между листами 5 и 6 академической тетради есть еще дополнительный лист со вставкой, которая является переработкой прежнего текста и частью написана на этом вставном листе, частью на полях рукописи. Эта вставка заключает в себе упомянутое выше описание проводов Катюшей поезда с уехавшим на войну Валерьяном. Предполагаем, что эта вставка более раннего времени, чем вставка и приписки, сделанные в феврале 1890 г. — вероятно, 29 — 31 декабря 1889 г., когда Л. Н., как он отметил в дневнике, «немного поправил, но вперед не пошел». Так можно думать на том основании, что в февральском плане

встреча Катюшей поезда отнесена ко времени возвращения Валерьяна с войны, т. е. так, как изображено в позднейших редакциях «Воскресения». Тогда — в феврале эта перестановка встречи осталась только предположением.

Февральскими переделками, нужно думать, кончилась работа над первым очерком Коневской повести. Есть, правда, в дневнике отметка о писании ее в июне 1890 г., но тут же сказано, что работа эта «не притягивает». Наконец 17 июня намечается уже новый план — не хронологический: «надо Коневскую начать с сессии суда». Это число таким образом стало гранью работы над первым очерком, не удовлетворившим автора.

Так оборвалась первая попытка писать «Коневскую повесть»—еще не «Воскресение»—не доведенною до конца. Причину этого надо искать в том, что, как видели мы, писание наброска совпало с неблагоприятными обстоятельствами; в эти месяцы декабрь—февраль у Л. Н. Толстого было страшно много иной работы и много помех. Мысль о будущей повести, видимо, только изредка захватывала его целиком, когда он чувствовал прилив вдохновения; работа только минутами увлекала его — и фабулой, заинтересовавшей его с самого начала—с первого рассказа А. Ф. Кони, и яркостью блеснувших в его воображении образов, и больше всего, конечно, общей идеей, — и тогда творчество его поднималось на высокие ступени.

Дальнейшие годы решительно изменили первоначальный, повидимому, сравнительно не сложный замысел повести, углубив и распространив ее содержание и дав в ней не только историю духовного возрождения одного человека, но широким охватом объяв целую эпоху жизни народа, затронув глубокие вопросы общего значения.

В. Срезневский.

25 февраля 1924 г.

АНЕКДОТА.

(Кое-что из „неизданного“ о профессорах А. Ф. Кони).

Предупреждаю, что эти «Анекдота», в смысле близком к тому, что и французы называют словом «inédit», будут вместе с тем и анекдотами в теперешнем значении слова о некоторых профессорах Московскаго Университета, бывших наставниками нашего почтенного юбиляра.

Анатолий Федорович кончил курс в Московском Университете в 1865 году, а я сделался там же студентом, только не юридического факультета, а историко-филологического, в 1869 году и, заглядывая по временам в аудитории других факультетов, не раз слушал лекции профессоров-юристов, большею частью стариков, бывших на своих кафедрах и в начале шестидесятых годов, когда и Анатолий Федорович был студентом. И всего-то профессоров на юридическом факультете было немного. У меня сохранились расписания лекций моего времени, и я по ним насчитал только двенадцать ординарных, экстра-ординарных и доцентов, а именно Бабста (экономиста и статистика), Баршева (криминалиста), Беляева (историка русского права), Вицына (процессуалиста), Капустина

(по энциклопедии права и по международному праву), Крылова (романиста), Легонина (по судебной медицине), Лешкова (полициста), Мильгаузена (финансиста), Никольскаго (цивилиста), Сергеевича (по государственному праву) и Соколова (канониста), к которым нужно прибавить из профессоров историко-филологического факультета Юркевича, читавшего философию права. Вот и все, из которых много больше половины читали лекции и в студенческие годы Анатолия Федоровича. Состав факультета был, таким образом, бедный. В заметке о Б. Н. Чичерине, оставившем кафедру в 1868 году, Анатолий Федорович говорит, что в пятидесятых годах московский юридический факультет был в общем бесцветный, но то же можно было бы сказать и о последующем времени, конечно, за исключениями, до обновления факультета в семидесятых годах, когда профессорские кафедры заняли такие ученые, как Максим Ковалевский, Муромцев, Чупров, Янжул и др. Большею частью старики доживали свои последние годы и по старым запискам дочитывали свои устарелые лекции.

Помню фигуру Сергея (для себя бывшего Сергием) Ивановича Баршева, в начале моего студенчества бывшего ректором и нами чуть не ненавидимого за реакционность. Высокий, сухопарый старик важного вида, с мертвенным смугловатым лицом, гладко выбритым и, кажется, бывшим неспособным оживляться улыбкой, формалист на службе да и в жизни, Баршев профессорствовал уже около тридцати

пяти лет, когда я поступил в университет. У нас о нем ходило немало легенд. Например, «на поле, кричал он на лекции, а он именно кричал, а не говорил,—на поле русской науки уголовнаго права, выросло два цветка, два брата, один мой брат Яков (профессор-криминалист в Петербурге), а о другом из скромности я умолчу». Особенно был известен такой отрывок из его лекций. Дело шло о том, как можно применять понятие покушения, положим, на кражу. «Ну, кричал он, отчеканивая слова (другая особенность его дикции), ну, представьте себе, что в подворотню запертых ворот двора, где для сушки развешано белье, лезет генерал в полной парадной форме и при орденах. Разве можно считать это покушением на кражу? А может быть он шел на любовное свидание». Был у Баршева какой-то, повторявшийся из года в год, анекдот о его собственной теще, в литографированные записки не попадавший, но на экзамене неуклонно спрашивавшийся. «Расскажите анекдот о моей теще», вопрошал профессор. Студент молчит. «А вот и видно, что вы на мои лекции не ходили», заключал экзаменатор. Говорили, но это совсем невероятно, будто какой-то дерзила ответил Баршеву: «вы так громко читаете, что я слышу их с лестницы». Более достоверно, что до уничтожения телесных наказаний по суду Баршев отстаивал их разумность, необходимость, целесообразность и справедливость, но потом, когда законодательство изменилось, и он изменил свои научные взгляды. Был со мной такой казус. Дело было во

время экзамена у латиниста Г. А. Иванова, великого смиренника и чинопочитателя, бывшего потом ректором. Я сидел у стола, готовясь к переводу указанного мне отрывка, как вошел ректор Баршев. Иванов встал и вытянулся в струнку, а я, занятый своим текстом, не заметил вошедшего и подошедшего к столу ректора, который вдруг протянул мне руку, конечно, мною принятую. Оказалось, что мою опущенную над книгой голову с длинными русыми волосами он принял за голову профессора Леонтьева. Увидев ошибку, Баршев резко отдернул свою руку, в смущении пробормотал: «я ищу Павла Михайловича» и удалился, не поклонившись Иванову, который все время продолжал стоять в почтительной позе. «Это они ошиблись», пояснил мне Иванов со своей всегдашней приветливо-сладостной улыбкой.

Кстати об Иванове. Он замечателен тем, что в жизнь свою не напечатал ни единой строки. Доктором, как, действительно, знаток латинскаго языка, он сделался по милости своего покровителя П. М. Леонтьева, бывшего в качестве друга и сотрудника Каткова, большою силою в консервативном лагере профессуры, в котором особенно много было медиков. С. М. Соловьев постоянно сопротивлялся возведению в «даровое докторство», но Леонтьев настаивал, об'ясняя отсутствие у Иванова ученых трудов, его скромностью. Впрочем, и сам он был больше занят редактированием «Московских Ведомостей». Известно, что при баллотировке на пятилетие в начале семидесятых годов большинство совета университета

прокатило его на черных. Рассказывали, что Леонтьев в заседании разразился речью, в которой произнес такие слова: «вы лизнули моей крови, и это даром пройти не может». Немедленно в «Московских Ведомостях» открылся поход против университетского устава 1863 года, который прежде газета эта хвалила.

Но возвращаюсь к профессорам юридическаго факультета и по ассоциации сходства после Леонтьева называю экономиста И. К. Бабста, которого в середине семидесятых годов сменил А. И. Чупров. Сходство было в том, что оба немилосердно маникировали лекциями, один из-за «Московских Ведомостей», другой из-за московского купеческого банка, которым он управлял с середины шестидесятых годов. Я хотел послушать его лекции, но никогда, приходя в аудиторию, его не находил. Случилось даже так, что по недосугу он не приехал в университет, когда я должен был у него экзаменоваться по статистике, и он, узнав от декана, что у меня отличные баллы, поставил мне в списке пятерку. От Бабста был бы переход к финансисту Мильгаузену, но что-то о нем у меня не сохранилось никаких воспоминаний, кроме его несколько одутловатого и сонного лица.

Зато хорошо помню М. Н. Капустина. В 1869 году это был человек лет сорока, очень живой, с несколько бюрократической внешностью, которую ему придавали бакенбарды. В 1870 году он был назначен директором Ярославского лицея, и я еще застал его профессором в Москве. На его лекциях, на которые я иногда заглядывал, меня поражала его способность

без конца перефразировать одну и ту же мысль. Каждое право предполагает обязанность, а каждая обязанность право. Другими словами, права и обязанности тесно связаны между собою. Иначе говоря, нет права без соответственной обязанности, и наоборот. Из этого видно, что право и обязанность — понятия соотпотносительные. Можно сказать, что каждое право порождает обязанность, а обязанность право... и т. д.

Словно, тогда же казалось мне, сноп обмолачивался, поворачиваемый разными сторонами. Я узнал в лицо Капустина, когда его в конце прошлаго столетия сделали попечителем петербургского учебного округа. В этой должности он оставил по себе хорошую память, как о человеке благожелательном и даже сердечном.

П. Д. Беляева помню только внешние черты: его неуклюжую фигуру, за которую Крылов его аттестовал, как «кавалера и из себя молодца», и какой-то дефект в его произношении, заставлявший его, профессора истории русскаго законодательства, как титуловалась его кафедра, раздирать древние грамоты, вместо того, чтобы их разбирать. Это был известный ученый, между прочим, не страдавший добродетелью Иванова в том смысле, что предавал свои многочисленные работы по истории русскаго права тиснению. Интересуясь историей крестьян (правда западноевропейских) я в студенческие годы читал его «Крестьян на Руси». Более, чем Беляев, врезался в моей памяти В. Н. Лешков, очень почтенный уче-

ный и хороший человек, но производивший на нас, молодежь, несколько комическое впчатление какою-то вертлявостью и причмокиваниями в речи. Его кафедра носила название полицейского права (замененное потом названием административного права), но он упорно называл это право общественным, как оно и значилось в распределении лекций по часам. После франко-прусской войны, должно быть в зиму 1871—1872 г., в Москву приезжали немецкие победители и в числе их прусский принц Фридрих-Карл, посетивший университет. Когда ему представляли профессоров, на вопрос, обращенный к Лешкову, какой предмет он преподает, последовал будто бы ответ: «das Polizeirecht, aber nicht Polizeirecht, sondern Gesellschaftsrecht». О себе Лешков оставил хорошую память в учениках, ставивших ему в большую заслугу его инициативу в создании московского Юридического Общества и в деле созыва первого с'езда русских юристов.

Наиболее яркие воспоминания сохранились у меня о знаменитом П. И. Крылове, или Никите, как его, кажется, все звали. Я иногда заходил на его лекции и впервые познакомился с историей римского права по его литографированным лекциям, экземпляр которых, кажется, у меня сохранился. Его ученик и преемник по кафедре, С. А. Муромцев, первый председатель национальнаго представительства в России, оставил в печати живую характеристику и серьезнаго научнаго облика и блестящего, прямо артистического лекторского таланта своего учителя. Посвя-

тил несколько страниц Крылову и А. Ф. Кони, который, кроме того, в своей статье о Чичерине сопоставляет Крылова с Грановским. «В пятидесятых годах, говорит он здесь,—в общем, бесцветный юридический факультет старейшего русского университета оживлялся лишь талантливостью Никиты Крылова и, отраженным светом, озарялся лекциями незабвенного профессора словесного факультета Грановского». Я помню Крылова уже на склоне его дней, может быть, несколько опустившегося, изрядно в это время, говорят, выпивавшего, и не лекторского, но общественного значения Крылова не поставлю вообще на одну доску со значением Грановского, кружок которого держал Крылова от себя далеко, хотя Никита Иванович был женат на сестре Е. Ф. Корша, близкого к этому кружку человека. Но действительно Крылов был мастером художественного слова, потому что речь его отличалась образностью, характеристики лиц, положений, учреждений—меткостью сравнения, остроумием, привлекавшими в его аудиторию не одних юристов. Известно, что печатных трудов Крылов не оставил, кроме актовой речи 1838 года и одной критической статьи 1861 года. Из года в год, помню, в годичных университетских отчетах неизменно повторялось указание на то, что заслуженный профессор Н. И. Крылов занят научным трудом по истории рабства в древнем Риме, но к этому почему то товарищи Крылова относились скептически. Правда, существуют литографированные записи лекций Крылова, но Муромцев, сам участвовавший в записывании

и литографном издании его курсов, писал впоследствии, что в массе студенческих записей лекций Крылова «не было ни одного, которое воспроизводило бы пластическую силу его речи». Между тем, Никита Иванович был самою талантливою натурою среди своих сверстников на юридическом факультете, человеком, заставлявшем о себе говорить и вспоминать. В одном романе Боборыкина, помнится, в «Китай-городе» описывается пирушка в традиционный Татьянин день, именины Московскаго университета, и на ней сотрапезники делятся воспоминаниями о Никите.

А поделиться было чем. Не знаю, как прежде, но в мои студенческие годы Никита Крылов изрядно чудил, чему и я был свидетелем. В мае 1873 года мы, студенты историки, собрались готовиться вместе к одному товарищу, отец которого был владелец известного колониальнаго магазина и винного погреба, куда Никита часто захаживал. Узнав от хозяина, что у его сына собрались студенты-филологи, старик, уже бывший навеселе, сказал: «пойду посмотреть, какие-таки филологи», и на самом деле пришел, спросил себе бутылку краснаго, да и остался в нашей маленькой компании 8—10 человек далеко за полночь, одни пользуясь содержимым этой бутылки (а может быть и с повторением), все время без умолку рассказывая нам забавные и подчас очень злые вещи о других профессорах, кое-что передавая в лицах. Неожиданно дошла очередь до ректора, каковым был тогда С. М. Соловьев, но на беду Крылов не знал, что в нашей среде был сын Соловьева. Владимир.

известный потом философ, который разрыдался по случаю издевательства расходившегося старика над его отцом. Вышел скандал и мне пришлось успокаивать Крылова, что сын не передаст отцу. Весною этого года он и прекратил свое преподавание в университете, продолжавшееся им в последнее время по «вольному найму» за выслугою уставного срока. На экзаменах он очень чудил, так что сам ректор приходил удостовериться и удалился, когда Крылов предложил студенту вопрос: «какая разница между статскиз и тайным советником»? Сам он дальше статского не пошел, а Соловьев был тайным. «Да просто, отвечал сам же профессор, коли статский глуп, и все говорят, что глуп, а вот коли тайный глуп, все таки говорят: поди-ж ты, как умен».

Крылов был маленький, щупленький старичек, державший голову как-то набок, с красноватым, очень морщинистым лицом, то остававшимся угрюмым, то озарявшимся хитрой, подмигивающей улыбкой. Его шутки были часто злые. В 1872 году доцентуру гражданскаго права занял в Московском университете ныне давно покойный В. А. Умов. младший брат известного физика, тоже уже покойного, так вот о нем Крылов на своей лекции, говорили, сказал: «ну, об этом писал еще, как бишь его, еще такая у него не по шерсти кличка. Да, да, вспомнил: Умов». Прибавлю, что это сказано было с обычным для Крылова оканьем, вместо характерного для москвичей аканья. Другой случай. Говорил профессор на лекции о том, что он называл дуализ-

мом в римском праве и по обыкновению сделал экскурсию в сторону, упомянув о том, как два лица, часто упоминаемые вместе, как бы сливаются в одно. «Ведь показывают где-то ноготь Бориса и Глеба. Да вот и со мной было это на этих днях. Вхожу в профессорскую и вижу: стоит Леонтьев, т. е. знаете, Леонтьев, который с Катковым, а я себе и подумал: ишь, подлецы стоят». Об этом много тогда говорили, как об одном из последних трюков Никиты. Нужно заметить, что Леонтьев и Катков были предметом застарелой злобы Крылова, которого они в начале шестидесятых годов травили в своем «Русском Вестнике».

А. Ф. Кони в своих воспоминаниях о знаменитом, как сам его называет, учителе своем говорит, между прочим, что римское право давало вдумчивому профессору поводы затрагивать на лекциях, в виде сравнений или только в намеках, отрицательные стороны русской жизни». «Картины римского правового быта, говорит он, или противополагались явлениям русской действительности, или, в ряде примеров и вытливых сравнений, искусно переплетались с нею». Это я тоже помню. Большой поклонник Рима, Крылов, наприм., говорил о светлых и черных желобах, по которым текло право и тут же с гримасой упоминал о темных и грязных засоренных трубах, по которым иде кое-как ползет нечто, вроде права. Это я сам слышал. А вот и другое. Дана была характеристика второго римского царя: «набожный был человек, закончил ее Крылов, а пришел Тулл Гостилий

и «всех этих попов и монашек по шапке». Веселье царило в аудитории, когда старый профессор драматизировал сценки из римских тяжебных дел, сбиваясь с античной терминологии на самую «рассейскую» с упоминаниями о квартале и квартальном надзирателе.

На экзаменах Крылов, в мое, по крайней мере время, был грозою студентов, с которыми не очень церемонился. «Пришел, сказал он нам, когда нежиданно явился в комнату товарища, у которого готовилось к экзамену несколько студентов-историков, пришел посмотреть, каки-таки филологи. А, небось, боитесь меня».—Чего нам бояться, Никита Иванович. Ведь мы не юристы. — «Молодец, ловко отрезал», похвалил Крылов и решил остаться у нас посидеть. Особенно страшились юристы его шуток, когда, как выражались о нем, «начнет Никита куражиться во всю». Бывали у него на этой почве в последние годы конфликты. Он считал себя в праве обращаться на ты, что шокировало иных, но обыкновению к этому привыкали. Часто он и в выражениях не стеснялся. Рассказывали один эпизод на каком-то диспуте, когда Крылов характеризировал понимание личного достоинства старой Руси. «Да, за бороду не хватай, потому—оскорбление, а вот»... Дальше следовало нечто непазываемое и прибавлялось: «тут луп сколько хошь». Не смотря на все чудачества Никиты, огромный его талант вызывал к нему какую-то симпатию. Недаром в Татьянин день летели к нему из разных краев России телеграммы от бывших его слу-

шателей, всегда вспоминавших его с добрым чувством. Как это до сих пор нет ни одной сколько-нибудь обстоятельной биографии этого талантливого человека, который в другой среде, в другое время мог бы развернуться шире и плодотворнее! Да, Крылов остается неизданным. Но и кто теперь взялся бы за литературное воскрешение его личности, более, чем другие его товарищи по факультету, по крайней мере в годы моего студенчества, заслуживающей долгой памяти!

Н. Кареев.

1 Марта 1924 г.

Из ранних лет А. Ф. Кони.

(По неизданным материалам).

На восьмидесятилетнем жизненном пути Анатолия Федоровича Кони много ярких, значительных моментов. Так много для краткой человеческой жизни красиво и безупречно пройденных ступеней на редкость разносторонней деятельности.

Столько заслуг исключительной судебной деятельности. Вершина ораторского искусства. Служение науке, начатое с университетской скамьи. Общественная деятельность, полная лучших стремлений. Истинный литературный дар. Наконец, встречи: пестрые, интересные. Дружба с целой плеядой замечательных русских людей.

В длинной яркой цепи, которою можно соединить последовавшее 60 лет тому назад начало общественного служения с нашими днями, не мало блестящих звеньев.

Среди них не последнее место занимает, по тому огромному значению, которое оно могло бы иметь для Анатолия Федоровича, первое звено—первое выступление молодого студента Анатолия Кони на арену служения науке.

То были шестидесятые годы. В 1865 г. Анатолий Федорович был на четвертом курсе юриди-

ческого факультета Московского Университета. Радостное настроение, которым было охвачено общество в первые годы по вступлении на престол Александра II, в это время уже почти миновало. Но не задолго перед тем появилась книга, в которую «жадно вчитывались тогдашние молодые юристы» [1]), по которой они «учились великому делу правосудия» [1]), которая была для них, по выражению Анатолия Федоровича, «символом и напоминанием «первой любви» в их служении обществу». То были Судебные Уставы. Они были встречены с волнением.

«Немногие из нас, еще остающиеся в живых»,— пишет Анатолий Федорович,— «могут с благодарным чувством вспомнить это время благородной мысли, восторженного чувства, горячей надежды на светлое будущее и горделивой веры в способности русского народа,— время, когда каждый устыдился бы даже подумать про себя многое из того, что потом приходилось нередко слышать не только в безбоязненно произносимых словах, но и во влиятельной печати,— время увлечения незыблемостью принципов и отвращения к услужливости житейских приспособлений» [2]).

Молодые юристы жадно вчитывались в книгу Судебных Уставов, смотрели на нее с тайной радостью, как на некое благовестие о будущей деятельности.

Под влиянием такого настроения, Анатолий Федорович, не удовлетворяясь лекциями университет-

---

[1]) „На жизненном пути", т. 2, стр. 266.
[2]) Ibid., стр. 267.

ских профессоров, принялся за самостоятельное юридическое чтение, читая Берпера, Буатара и Ортолана.

«Это изучение» — пишет Анатолий Федорович — «навело меня на мысль написать кандидатскую диссертацию «О праве необходимой обороны». Я стал заниматься этой темой весьма усердно, с жадностью отыскивая везде, где можно, материалы. В январе 1865 г. я засел за писание и проводил за ним почти все вечера, памятные мне и до сих пор по невыразимой сладости первого самостоятельного научного труда»[1])...

В марте работа была окончена. Профессор уголовного права и ректор Московского Университета Баршев написал на ней: «весьма почтенный труд», а Совет Университета постановил напечатать ее в «Приложениях к Университетским Известиям», которые должны были начаться изданием с будущего учебного года.

Летом 1865 г. Анатолий Федорович окончил курс университета. Исключительная, щепетильная добросовестность заставила его отказаться от предложения начать с будущего же учебного года чтение лекций по уголовному праву в родном Московском Университете. В ожидании заграничной поездки, которая предстояла ему, как оставленному при Университете [2]). Анатолий Федорович переехал в Петербург, где и

---

[1]) «На жизненном пути», т. 3.

[2]) Кредит на посылку молодых людей за границу в 1865-66 г. оказался исчерпанным и поездка отложена была до осени 1866 г.

поступил на службу в Контроль при Военном Министерстве.

В мае 1866 г. «рассуждение студента Анатолия Кони «О праве необходимой обороны» появилось в № 8 «Московских Университетских Известий» с пометкой «одобрено юридическим факультетом Императорского Московского Университета».

Незадолго перед тем, однако, случилось событие, имевшее неизмеримое значение.

4 апреля 1866 г. последовало покушение Каракозова.

Поворотный пункт в истории русской жизни, по выражению Герцена «начало войны, начало борьбы». Каракозовский выстрел, как известно, имел своим последствием яростную, злую реакцию.

«Выстрел 4-го апреля растет не по дням, а по часам в какую-то общую беду, — писал Герцен — и грозит вырасти в еще страшнейшие и еще больше незаслуженные Россией бедствия»[1]).

Реакция, захлестнувшая все стороны русской жизни, естественно, отразилась и на печати.

При таких условиях, в мае 1866 г., появилась книжка «Московских Университетских Известий» с исследованием Кони.

Работа Анатолия Федоровича была первым на русском языке и до девяностых годов единственным историко-критическим и догматическим изложением учения о необходимой обороне.

---

[1]) «Колокол», 1866 г.

Основанная на добросовестном и тщательнейшем изучении всей существовавшей в то время иностранной литературы вопроса (трудов Лефита, Зандера. Захарии, Цэпфля, Митермайера, Ортолана и в особенности Берпера), средневековых и современных западно-европейских уголовных законодательств, русских исторических памятников. практики дореформенных судов и современного русского законодательства, работа Анатолия Федоровича была богатым вкладом в бедную русскую уголовную литературу того времени.

«Время благородной мысли и восторженного чувства» наложило яркую печать на работу молодого автора. Проникнутое лучшими стремлениями, рассуждение «о праве необходимой обороны» действительно полно горячей надежды на светлое будущее, горделивой веры в способности русского народа. веры в новый, гласный суд [1]).

Однако, эта чисто научная работа привлекла к себе весьма пристальное внимание деятелей цензурного ведомства. Молодой автор «Необходимой обороны» был обвинен в «одобрении и оправдании действий, запрещенных законами».

---

[1]) «Надо надеяться. что наш новый гласный суд, поднимая и развивая юридические воззрения народа, выяснит с особой ясностью существо права необходимой обороны» — пишет исследователь. «Законодательству останется только принимать в соображение его указания по этому вопросу. Это время. когда наука, законодательство и судебная практика пойдут у нас рука об руку. можно надеяться настанет скоро»...

Эпизод совершенно исключительный: Анатолий Федорович Кони едва не оказался на скамье подсудимых.

В 1866 г. должность сверхштатного чиновника особых поручений при Министре Внутренних Дел занимал некий коллежский советник Смирный. На обязанности этого коллежского советника лежал просмотр периодических изданий. В мае 1866 г., наряду с «Черниговскими Епархиальными Ведомостями», «Воронежским Листком», и «Рижской Газетой», он просмотрел и № 8 «Московских Университетских Известий», а в нем исследование Кони «О праве необходимой обороны». В последнем он усмотрел вещи «едва ли удобные» и «вполне неуместные» и подал 28-го мая рапорт Начальнику Главного Управления по делам печати, Щербинину. Рапорт этот послужил началом делу, рассматривавшемуся Главным Управлением по Делам Печати, двумя Министрами: Внутренних Дел и Народного Просвещения, давшему повод к междуведомственной переписке, закончившемуся внушением через Попечителя Московского Учебного Округа Московскому Университету и едва не повлекшему предания автора суду. Приводим его целиком: [1])

---

[1]) «Дело канцелярии Главного Управления по Делам Печати (№ 19) с отзывами сверхштатного чиновника особых поручений при Министре Внутр. Дел. Смирного, о просмотренных им периодических изданиях». В настоящее время находится в 1-м отделении 4-й секции Государств. Архивного Фонда

Его Превосходительству Господину начальнику Главного Управления по делам печати Михаилу Павловичу Щербинину.

Сверхштатного чиновника особых поручений при Министре Внутренних Дел Смирного.

РАПОРТ.

В приложении к № 8 «Московских Университетских Известий» помещено кандидатское рассуждение Кони «О праве необходимой обороны». Разобрав на основании теории вопрос об этом праве, автор рассматривает условия применения оного, причем касается необходимой обороны против лиц, облеченных властью (стр. 213). Признавая незаконным всякое сопротивление против распоряжений общественной власти, автор допускает необходимую оборону в случае явного противоречия закону. Мнение это основано на том, что достоинство государственной власти нисколько не потерпит от подобного права, и скорее значительно выиграет, если она будет строгою блюстительницей закона и будет одинаково смотреть на всех отступников от закона, не взирая на их общественное положение. Затем доказывается необходимость уважения к закону со стороны государственной власти, которая заканчивается нижеследующим выражением: «Власть не может требовать уважения к закону, когда сама его не уважает, граждане в праве отвечать на ее требования: «врачу, исцелися сам».

Очевидно, что учение о праве необходимой обороны против незаконных действий агентов государственной власти противоречит достоинству этой власти, которая в таком случае является зрительницей защиты самих граждан и никак не блюстительницей закона. Сверх того заключение автора о праве граждан оправдывать свое неуважение к закону действиями государственной власти едва ли может быть удобным при настоящем настроении нашей молодежи, которая преимущественно пользуется этим изданием.

В отделе о необходимой обороне в частности (стр. 230) автор допускает оборону для защиты всех прав вообще, без всяких исключений. Как естественное последствие этого принципа приводится в статье мнение Бернера, что народ, правительство которого стремится нарушить его государственное устройство, имеет право революции, право восстания (стр. 234).

Представляя мнения разных ученых по этому вопросу, автор признает для применения в этом случае права обороны необходимость требовать, чтобы нарушенное право действительно принадлежало народу, действительно было нарушено и чтобы революция была последним средством защиты.

Хотя таким образом автор несколько ограничивает широкое определение права необходимой обороны, но и подобное оправдание восстания, взводимое в область присущих всем гражданских прав, мне кажется вполне неуместным.

Говоря о необходимой обороне личности, автор касается нарушения домового права (стр. 238). В сфере своего жилища гражданин — полный хозяин и, следовательно, по мнению автора, имеет естественное право не допускать в него постороннего вторжения.

Подобное учение о неприкосновенности домашнего очага едва ли удобно распространять в настоящее время.

О всем вышеизложенном имею честь представить на благоусмотрение Вашего Превосходительства.

Сверхштатный чиновник особых поручений при Министре Внутренних Дел.

Ф. Смирный.

28 мая 1866 года.

Вследствие резолюции Щербинина («доложить в заседании Совета»), рапорт Смирного 30-го мая был рассмотрен в заседании Совета Главного Управления по Делам Печати (в журнале заседания он вновь воспроизведен), который высказался о нем следующим образом: [1])

«Принимая во внимание, что «Московские Университетские Известия» есть издание специальное, посвященное преимущественно развитию вопросов серьезных с точки зрения науки, Совет находит, что

---

[1]) Журналы Совета Глави. Управления по делам печати за 1866 г., находятся в 1-м отд. 4-й секции Гос. Архивного фонда.

рассуждение г. Кони может быть оставлено без принятия какой-либо карательной меры относительно оного или относительно повременного издания, в котором оное помещено и которое до настоящего времени не подвергалось еще никаким замечаниям в цензурном отношении. Но тем не менее, Совет полагает: сообщить изложенные в рапорте Коллежского Советника Смирного соображения Г. Министру Народного Просвещения, о чем представить на благоусмотрение Его Высокопревосходительства Г. Министра Внутренних Дел».

Резолюция Министра Внутренних Дел, Валуева, (17-го июня),—«Согласен».

Во исполнение этого постановления, 28-го июня, за подписью Валуева, было послано И. Д. Делянову (исполнявшему в это время, за отсутствием гр. Д. Н. Толстого, обязанности Министра Народного Просвещения) письмо, вновь повторявшее (в несколько сокращенном виде) рапорт Смирного и заключение Совета Главного Управления по Делам Печати [1]).

Письмо это встревожило Делянова. Анатолий Федорович получил официальное приглашение «пожаловать для объяснения по делу». В своих воспоминаниях Анатолий Федорович рассказывает о своем разговоре с Деляновым [2]).

---

[1]) „Утвердив таковое заключение Совета"—заканчивается письмо—„имею честь о вышеизложенном сообщить на усмотрение Вашего Высокопревосходительства".

[2]) „Посмотрите-ка, что Вы наделали"—сказал ему Делянов и передал дело, начинавшееся с только что цитированного

Но еще в день получения письма, т. е. до разговора с Анатолием Федоровичем, он положил следующую резолюцию: «Надобно сообщить Попечителю о том, чтобы он вменил кому следует в обязанность строжайше наблюдать за непомещением подобного рода рассуждений. Не мешает сообщить и [1]) ... попечителям для сведения [4]) ... и, пожалуй, чего-нибудь не доглядят» [2]).

Во исполнение этой резолюции, Попечителю Московского Учебного Округа, Д. С. Левшину, было послано 6-го июля, за подписью Деляпова, письмо, вновь повторявшее все, что изложено в письме к Валуеву. «Сообщая о вышеизложенном Вашему Прево-

---

нами письма. „Валуев говорил со мной по этому поводу — продолжал Деляпов—и желает, чтобы мы обязали Вас не распространять Вашу „необходимую оборону“ в отдельном издании“... „Надо было бы писать поосторожнее“—говорил Деляпов в ответ на объяснения А. Ф.—„А и Сергей Иванович (Баршев), такой мудрый человек, и вдруг проморгал! А нам неприятности. Ну хорошо, мы напишем Валуеву все что Вы говорите, а Совету Университета все-таки придется поставить на вид и запретить отдельное издание Вашего труда. И что это они журналистикой заниматься вздумали?! Мало у них своего дела? Эх-эх-эх!... Ну прощайте!.. А мы так Валуеву и напишем!“

Насколько видно из дела, Валуеву Деляпов, несмотря на свои слова, ничего не написал.

[1]) Неразборчиво.

[2]) Дело Департамента Народного Просвещения по разряду высш. учебн. заведений. О помещенном в Моск. Универс. Известиях рассуждении Кони „О праве необходимой обороны“. По разряду № 98/100. По архиву № 144990. Находится ныне в 1-м отдел. 1-й Секции Госуд. Архивного фонда.

сходительству, и покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь, вменить кому следует в обязанность строжайше наблюдать за непомещением подобных рассуждений в Московских Университетских Известиях, дабы издание это не подвергалось в цензурном отношении каким-либо карательным мерам». Копии с этого письма были в тот же дань разосланы «для сведения» попечителям других учебных округов: П. Е. Шестакову и А. П. Ширинскому-Шихматову.

Этим, казалось бы, дело должно было и кончиться. Тем не менее, ему суждено было получить дальнейший ход.

Неожиданно вступив в повую фазу, оно вновь пошло до усмотрения Министра Внутренних Дел. причем на этот раз последствия для автора «Необходимой обороны» могли быть значительно серьезнее.

Дело в том, что диссертация Кони была напечатана не только в самих «Университетских Известиях«, но, как это обычно делается, в небольшом количестве экземпляров была отпечатано отдельными оттисками.

В октябре 1866 г., т. е. через полгода, один из этих оттисков попал в Главное Управление по делам печати. Последнее не только вновь обратило на него свое внимание, но и вновь рассмотрев диссертацию по существу, едва не привлекло его автора к судебной ответственности по обвинению в нарушении некоторых весьма серьезных статей действовавшего уголовного законодательства.

17 октября, член Совета Главного Управления, Варадинов подал следующую, весьма обстоятельную записку, которую позволяем себе привести полностью:[1]

№ 2238.

«В начале этого года в № 8 и 9 Московских Университетских Известий помещено кандидатское рассуждение г. Кони «О праве необходимой обороны», которую автор считает возможной, как против официальных лиц, злоупотребляющих своею властью, так и против самого правительства в форме революции, если правительство нарушило право, действительно принадлежащее народу. Совет Главного Управления по Делам Печати, принимая во внимание, что «Московские Университетские Известия» составляют издание, посвященное преимущественно развитию вопросов серьезных с точки зрения науки, находил, что рассуждение г. Кони может быть оставлено без принятия какой-либо карательной меры относительно этого сочинения или относительно повременного издания, в котором оно помещено и которое до того времени не подвергалось еще никаким замечаниям в цензурном отношении, но тем не менее Совет полагал сообщить свои соображения по этому предмету Господину Министру Народного Просвещения. Его Высокопревосходительство Г. Министр Внутренних Дел.

---

[1] Дело Канцелярии Главного Управления по Делам печати по изданию журнала „Московские Университетские Известия". № 241, находится ныне в 1-м отделении 4-й Секции Госуд. Архива. фонда.

изволили утвердить это постановление, которое и было исполнено 2-го июня сего года.

Теперь г. Кони издал это сочинение отдельной брошюрой в 6 слишком печатных листов без разрешения цензуры. Сочинение напечатано отдельной брошюрой в Москве, в Университетской типографии, содержимой в аренде Катковым и К°. Московский Цензурный Комитет не принял против него никаких мер, и сочинение выпущено в свет.

Хотя на обороте страницы заглавного листа сочинения г. Кони и напечатано «Из Московских Университетских Известий 1866 г. № 8 и 9» и, «одобрено юридическим факультетом Императорского Московского Университета», но ни та ни другая пометка не составляет цензурного дозволения, без которого не может быть напечатано оригинальное сочинение объемом менее 10 печатных листов. Первая пометка есть только указание, где было прежде напечатано сочинение, вторая—относится к одобрению юридическим факультетом сочинения Кони, как диссертации на степень кандидата, а не дозволение к печатанию, на что юридический факультет не имеет и права. Таким образом, сочинение это не было представлено г. Кони в цензуру и напечатано в типографии, содержимой г. Катковым и К°, без цензурного разрешения, несмотря на то, что оно, как состоящее из 6-ти с небольшим печатных листов, подлежало просмотру предварительной цензуры. Это нарушение цензурного постановления предвидено в 1024 ст. зак. угол. 1866 г. и, следовательно, подлежит судебному преследованию.

В самом же сочинении г. Кони находятся, между прочим, следующие мысли: а) на стр. 23 и 24 — «из положения о необходимой обороне при незаконном нападении вытекает и обратное положение: нет необходимой обороны против лиц, облеченных властью и уполномоченных законом к известным действиям, которые самим законом признаются за легальные; нет, следовательно, необходимой обороны: 1) против чиновников и агентов правительства, как представителей общественной власти; 2) против родителей, опекунов и воспитателей; действительно распоряжениям общественной власти необходимо повиноваться и если чиновник является с приказом арестовать меня, я должен ему покориться и допустить его сделать обыск в моем жилище, всякое сопротивление здесь незаконно; однако, и в этом случае допускается иногда необходимая оборона, а именно когда: 1) власть не имеет на известные действия права, когда она не компетентна, т. е. действует вне границ своей компетентности, 2) когда она действует даже в границах своей компетентности, но противозаконна в материальном отношении; очевидно, что необходимая оборона, как сопротивление действиям общественной власти, может быть только в случае явного противоречия закону» б) на стр. 14—16 автор, приводя мнения разных ученых касательно обороны против правительства в виде революции, говорит: «таким образом, для того, чтобы сюда (т. е. к восстанию против правительства и революции) могло быть применено право необходимой обороны, в обширном его

значении, необходимо требовать, чтобы нарушенное (правительством) право действительно принадлежало народу, действительно было нарушено и чтобы революция была последним средством защиты»; в) стр. 48 и 49 — «это право (домовое право) не может не считаться одним из важнейших прав гражданина: в сфере своего жилища гражданин полный автоном и может не допускать никакого вторжения в свое жилище», «сознавая такое значение своего жилища, гражданин, естественно, имеет право не допускать в него постороннего вторжения».

Мысли эти положительно противны существующим законам. Случаи применения необходимой обороны, допускаемой нашим законодательством, точно и ясно определены в ст. 101—103 зак. угол. В числе их нет необходимой обороны против правительственных властей, напротив, сопротивление правительственным властям воспрещено под опасением наказания в ст. 262, 263, 270—273 тех же законов уголовных. Восстание или бунт против правительства или верховной власти, а по терминологии автора рассматриваемого теперь сочинения. революция, безусловно запрещены ст. 249 и 250 ст. зак. уг. 1866 г. Вторжение, даже насильственное, в жилище частного лица в случае надобности разрешено полиции и. следовательно. ст. 258, 267, 272 уст. угол. судопр.. 119, 170, 507—509 уст. гражд. судопр.. 20 ноября 1866 г. и другими узаконениями.

Несмотря на столь положительные предписания закона, г. Кони одобряет и оправдывает действия,

ния воспрещенные, а подобный случай по делам печати предвиден в 1035 ст. зак. угол. и, следовательно, г. Кони подлежит преследованию и за это нарушение законов.

На основании этих соображений, я полагал бы предать: 1) г. Кони и содержателя типографии, в которой печаталась его брошюра, судебному преследованию за нарушение 1024 ст. зак. угол. 1866 г., т. е. за напечатание без разрешения цензуры сочинения, подлежавшего предварительному просмотру ее; 2) предать г. Кони судебному преследованию за одобрение и оправдание действий, запрещенных законами, или за нарушение 1035 ст. зак. угол. 1866 г.

И. Варадинов.

17 октября 1866 г.

На завтра же после получения записки Варадинова, т. е. 18-го октября, канцелярия Главного Управления по делам Печати, «по приказанию г. Начальника Управления» отправила Московскому Цензурному Комитету следующий запрос [1]: 1) была ли брошюра своевременно представлена в Комитет; 2) если была представлена, то было ли обращено на эту брошюру внимание Комитета и состоялось ли и какое именно о ней заключение или постановление; 3) была ли брошюра напечатана с разрешения Московского Цензурного Комитета; 4) сколько отпечатано в типографии экземпляров брошюры.

---

1) Ibid.

На это последовал следующий ответ: 1) «Рассуждение студента Анатолия Кони на степень кандидата «О праве необходимой обороны» было представлено в Комитет своевременно 29-го минувшего сентября, в узаконенном количестве экземпляров, которые разосланы по принадлежности; 2) в Цензурном Комитете по означенной брошюре особого постановления не состоялось, по той причине, что диссертация эта была написана с учено-специальной целью, на основании господствующих в науке авторитетов; 3) предварительной цензуре эта брошюра не подвергалась, но, на основании Высочайшего указа Правительствующему Сенату от 6 апреля 1865 г. одобрена к печати Юридическим факультетом Императорского Московского Университета; 4) по сведениям, как имеющимся в Комитете, так и доставленным от Инспектора над типографиями, брошюры этой отпечатано в Университетской типографии пятьдесят экземпляров».

И, наконец, последний этап этого дела, причинившего двум ведомствам столько хлопот: на цитированием нами отношении Московского Цензурного Комитета находим резолюцию: «Г. Министр признал возбуждение судебного преследования не удобным, так как книга отпечатана лишь в 50 экземплярах».

Этим дело о студенте Анатолии Кони, осмелившемся высказать «мысли, положительно противные существующим законам», закончилось.

А что было бы, если бы книга отпечатана была в количестве большем, чем 50 экземпляров,—спросим мы?

Конечно, Анатолий Федорович был бы привлечен по той самой 1035 ст., по которой предлагал его привлечь Варадинов, и очутился бы на скамье подсудимых. Осуждение его гибельно отразилось бы на всей его жизни, но даже и оправдание направило бы ее по совсем другому пути.

Без преувеличения можно сказать, что коллежский советник Смирный, простерший свое внимание от «Черниговских Епархиальных Ведомостей» до «Московских Университетских Известий», едва не лишил Россию Кони.

Нам остается только благодарить судьбу за то, что книга отпечатана была лишь в 50 экземплярах.

Л. Утевский.

Несколько слов об Ирине Семеновне Кони.

Небольшой письменный стол. Плетеное кресло. Чернильница с высохшими чернилами. Стакан со следами недопитого чая... Перо; футляр с очками: компас и книги. Много книг; они положены высокими стопками по обе стороны стола. На одной из книг надпись: «Моему милому сыну и помощнику на память от матери старушки. 1872 г. 28 января». На другой: «Моей дорогой матери от любящаго А. Кони. 1886. II. 18». На остальных—надписей нет: они появились в свет уже после того, как дорогая «старушка» ушла из него, и приносились по мере своего появления сюда, на стол, как цветы на родную могилу.

Ирина Семеновна Кони известна не только знатокам русского театра и русской литературы; в истории театра имя Сандуновой, как в истории литературы имя Юрьевой, давно уже заняло определенное место. Об артистке Сандуновой мы можем судить по отзывам современников. Ведь участь артиста: уйти и унести с собой плоды своего творчества. Судить о них можно только по тому, что рассказали нам о

них те, кто видел и слышал их. Относительно И. С. Кони-Сандуновой мы имеем самые лучшие отзывы. Пятнадцать лет играла она на императорской сцене, сначала в Москве, потом в Петербурге, рядом с Самойловым, с Каратыгиным, Мартыновым и др. Такой тонкий судья театрального дела, как Петр Исаевич Вейнберг, восторженно отзывался о ней. Ирина Семеновна играла с ним в спектакле Литературного Фонда 14 апреля 1860 г. Этот спектакль был сам по себе событием в литературном и театральном мире. Такой «афиши» не видала русская публика никогда, ни до, ни после этого спектакля. Давали «Ревизора». Городничего играл Писемский, почтмейстера — Достоевский! Безмолвными купцами вышли на сцену: Тургенев, Григорович, Аполлон Майков, Дружинин, Краевский, Василий Курочкин. Роль Хлестакова играл Вейнберг, а Абдулина—Ф. А. Кони.

И в этом созвездии появилась И. С. Кони. Вейнберг пишет, что она «была прекрасна», как и в другом спектакле Литературного Фонда, в «Женитьбе». «И. С. Кони — великолепнейшая сваха, какую только можно себе представить», пишет Вейнберг.

И. С. очень любила сцену и даже после того, как оставила театр, охотно выступала в своих любимых ролях. Но еще больше, чем сцену, она любила литературу, и здесь мы можем уже судить о ней без чужой помощи, а прямо по оставленным ею плодам ее творчества.

И. С. выступила в печати в тридцатых годах, когда сиял ослепительным блеском Пушкин; когда

в журналах появлялись имена Лермонтова, Гоголя, а позже Тургенева, Гончарова, Некрасова, Писемского и др. Жила П. С. у своего дяди, известного Вельтмана, и встречалась у него со всеми московскими светилами того времени. Литературные стремления и любовь к книге с юных лет проявились в ней, а среда щедро помогла ей развить ее личные дарования.

Начала она писать очень рано. Уже двадцати лет она напечатала свою первую повесть («Идеал жены», в «Литературной Газете») и сейчас же, вслед за ней, и вторую свою повесть «Воля и доля», едва ли не самую характерную для автора. Писала очень много, особенно когда ушла со сцены в 1850 г. Простилась она с публикой в своем бенефисе, сочетав с именем Сандуновой и имя Юрьевой: поставив свою драму «Порыв и страсть», или «Два женских сердца».

В те времена русские пьесы на русской сцене были исключением. Если такие и появлялись, то на афише это отмечалось особо: «оригинальная» пьеса такого-то; оригинальная не в смысле ее свойств, а по своему русскому происхождению. Пьеса г-жи Юрьевой тоже не была оригинальной, а откровенной переделкой одной их драм Сувестра. Юрьева выбрала все, что подходило к русской жизни, отбросила всю риторику; напыщенные фразы заменила легким простым языком—и переделка стала «пересозданием», как было сказано в одном из отзывов. Пьеса имела большой успех. Публика вызывала автора. И когда на эти вызовы вышла сама бенефициантка, в эри-

гели, наполнявшие Александрийский театр, увидели, что Юрьева и Сандунова одно и то же лицо — овациям не было конца. Пресса приняла драму с большими похвалами, нашла, что характеры рельефны, что нет ни ходульных героев, ни патентованных злодеев, как в большинстве иностранных драм того времени. У Юрьевой действующие лица — обыкновенные люди, поставленные в драматическое положение вследствие своих слабостей, порывов или страстей.

Свойства человеческого сердца и условия общественной жизни — главные двигатели всех их поступков, и коллизия между ними — основная причина тяжких переживаний. Эта мысль проходит почти во всех произведениях г-жи Юрьевой. Ее повести — это рассказы «о простых случаях жизни», как она их называет. Это действительно «случаи», часто совсем не простые, как будто нарочито выдуманные, но ведь жизнь неожиданнее и богаче вымыслами, чем самая пылкая фантазия, и эти случаи, рассказанные с какой то особой наивной простотой, ясным, не выдуманным, а настоящим, коренным русским языком, заставляют верить, что именно так и случилось, и начинаешь жалеть пострадавших или радоваться за счастливых.

Перечитывая сборник этих «повестей», точно пересматриваешь акварельный альбом 30—50-х годов: дормезы, берлины, откидные подножки, лакеи на запятках, качающиеся на высоких рессорах коляски, запряженные четверней в ряд. нарядные красавицы —

«полувоздушные существа... то небрежно, то кокетливо, приютившиеся в своих роскошных ракови-нах»... А рядом — самодурки помещицы, деспоты отцы; забитые гувернантки — мамзели; умирающие от чахотки, обманутые невесты; высокомерные невежды и обездоленные бедняки. Для последних у г-жи Юрьевой находится и яркие краски, и определенные слова. Социальная неправда, всевозможные условности и лицемерие так-называемого общества вызывают в ней благородный гнев, но она не любит долго останавливаться на этом. Ее влечет к «хорошему человеку», к людям, спешащим делать добро; она не может долго говорить о мелких, злых и жестоких людях, рисует их двумя-тремя крупными штрихами и любовно выписовывает великодушных, справедливых и просто добрых людей, как, напр., Наденька в повести «Воля и доля», Иванов в повести «Сапожный снаряд» или Пыжов в «Целковом».

И. С. Юрьева-Кони рассказывает о них с такою внимательной нежностью, с такою снисходительной улыбкой, что отдаешь им все сочувствие и начинаешь любить их и волноваться за них.

Вообще И. С. имела дар рассказывать и хорошо рассказывала.

Анатолий Федорович вспоминает, как мать рассказывала ему Вальтер Скотта. Десятилетний мальчик садился после обеда возле нее, клал голову ей на колени и слушал... Она рассказала ему Айвенго. Квентин Дорварда и др., — и Анатолий Федорович до сих пор помнит всего Вальтер Скотта, хотя позже и

не перечитывал его: так ярко, так талантливо сумела мать передать ему его.

И уже «старушкой», в Москве, когда сын приезжал навещать ее, она по долгу рассказывала ему разные случаи из жизни; и эти рассказы всегда были и талантливы, и доброжелательны.

Этот дар рассказа Ирина Семеновна передала своему сыну. И он мог бы сказать про себя словами Гете:

«Vom Vater hab'ich die Statur
«Des Lebens ernstes Wesen,
«Vom Mütterchen die Frohnatur.
«Die Lieb zu fabulieren.

От матери же, без сомнения, идет отчетливое стремление Анатолия Федоровича останавливаться преимущественно на «хорошем человеке» или вернее на хорошем в человеке. Его почтительная нежность к «святому доктору» переходит по отношению к другим, не святым, но хорошим людям, в нежную почтительность к их страданиям, заслугам, дарованиям и значению, какое они имели в жизни родины.

Конечно — другая палитра, другая кисть: иной размах. Но подход — тот же. Мягкость освещения, исключительная способность понимания людских слабостей, уменье прощать, благожелательность все это драгоценное наследие матери.

«Vom Mütterchen die Frohnatur
«Die Lieb zu fabulieren.

И когда слушаешь или читаешь Анатолия Федоровича, тоже начинаешь любить того, кого он любовно рисует. и прощать то. что прощает он.

Ирина Семеновна до последнего дня жизни сохранила самые лучшие, самые теплые отношения с сыном. Еще в день ее смерти А. Ф. был у нее и должен был вернуться к ней обедать. Но когда возвратился домой с могилы Гааза — то застал известие, что мать скончалась. Умерла она сразу, без страданий, без мук долгого умирания... Ушла. свершив щедро «в пределе земном—все земное» и оставив по себе самую светлую память.

Последние годы она жила вся в добрых делах и творила их так, что правая рука не знала, что̀ делает левая. Так, напр., когда на ее похороны явился какой-то приют. — то лишь здесь обнаружилось, что у нее в этом приюте были три стипендиатки.

В предсмертном письме к сыну, она—может быть предчувствуя близкую кончину — писала: ... «Похорони меня на Ваганьковском, поближе к валу, чтобы лежать было просторно. Вещи мои вели продать и вырученное раздай бедным. Прощай, голубчик. Спасибо за все... Ах, нет! Что я?!... Не прощай, а до радостного свидания!...»

Здесь—вся Ирина Семеновна: деликатная, добрая, любящая, верующая.

Вещи ее, конечно, были проданы в пользу бедных. Анатолий Федорович поручил купить часть их

ля себя, перевез в свою петербургскую квартиру и устроил у себя в библиотеке тот уголок, куда он время от времени уходит от тревожной суеты «сегодня», где черпает силы в прошлом, куда несет цветы своего сада...

Ек. Леткова.

Об одной речи А. Ф. Кони.

...«Бывают люди, — отмечает немецкая поэтесса и романистка Мария Эшенбах, — с умом сияющим и люди с умом сверкающим».

В Анатолии Федоровиче Кони с каким-то удивительным блеском и полнотой сочетались обе эти стороны человеческого ума. И всякий, кому хоть раз довелось слушать А. Ф., согласится с тем, что влияние его слова — этих подлинных цветов ума и красноречия — по истине неизгладимо. Его слово, выразительное и эмоциональное, производит всегда неотразимое действие. И это потому, что красноречие его — не только в построении фразы, в течении и извивах мысли: оно проявляется решительно во всем — во всем его живом и привлекательном облике.

Анатолий Федорович Кони — всегда оригинален. Я положительно не помню ни одной его речи, где бы отразился чудный шаблон, где бы нашли себе место затасканные слова и банальные мысли. Оттого все, что когда-либо произносил А. Ф., незабываемо; оттого и в данную минуту, когда обращаешься мыслью к этой стороне его духовного образа, набегает живая волна воспоминаний.

Это было в феврале 1921 г. Тесной семьей собралась литературная среда чествовать в интимном кругу в Доме Литераторов председателя Общества взаимопомощи литераторов и ученых А. Е. Кауфмана по случаю сорокапятилетия его литературной деятельности и двухлетия редактируемого им журнала «Вестника Литературы». Здесь были: А. Ф. Кони, Н. А. Котляревский, В. И. Немирович-Данченко, А. В. Амфитеатров, А. Л. Волынский, Л. Г. Дейч, Н. И. Кареев, С. И. Шохор-Троцкий и мн. др. На посту председателя Общества взаимопомощи литераторов и ученых покойный А. Е. Кауфман проявлял неутомимую деятельность, как и во всей своей предшествовавшей многотрудовой жизни общественного и журнального деятеля; за последние же тяжелые годы основал единственный, можно сказать, по тому времени журнал, которому отдавал много трудов и усердия. Все это естественным образом создало чрезвычайно теплую атмосферу в день его чествования и нашло себе достаточно полное и всестороннее отражение в ряде произнесенных речей. Что и говорить! Речи все были искренние, задушевные, более или менее индивидуальные, приятные и юбиляру, приятные и слушателям. Но поднимается А. Ф. Кони — и сразу вносит какую-то живительную струю своим оригинальным словом, своеобычной мыслью. ...«Во мне,—помнится, начал А. Ф.,— просыпается бывший прокурор и, в качестве обвинителя, должен вам, Абрам Евгеньевич, сказать, что вы — преступник. Вы в столь трудные годы путем неутомимых усилий и забот создали жур-

нал, в котором отражаете наиболее характерные факты современной литературной жизни. Вы спускаетесь с фонарем в руке в темные подвалы и отыскиваете там мертвецов (намек на некрологи об умерших писателях и ученых деятелях, печатавшиеся в «Вестнике Литературы»). Вы, не взирая на ваши седины и болезненное состояние здоровья, являетесь постоянно ходоком по разным чужим делам, ходатаем за литературную братию, за всех, обращающихся к вам за помощью и содействием. (И так далее в этом роде). Вы, словом, являетесь виновным в ряде перечисленных здесь преступлений. Посему, поддерживая против вас во всей полноте обвинение, предлагаю приговорить вас к высшей мере наказания — к продолжению долголетней работы на литературном и общественном поприще».

Этот эпизод, связанный с именем А. Ф. Кони, встает сейчас, спустя три года, словно сквозь сон, словно некое туманное видение: так много за эти годы пережито, перенесено и перезабыто. Трудно, конечно, передать всю тонкость и красоту этого незабываемого тогда его выступления, в котором нелегко сказать, чего было больше — игры ли ума или переливов чувства. Но, восстановляя все это в самых общих и грубых чертах, поскольку сохранила это память, должен сказать, что испытываю перед А. Ф. Кони чувство истинной виновности: наверно немало исказил его речь, нимало не передал его красочного и граненого слова. Ибо своеобразие его речи, изгибы его стиля непередаваемы. Ибо он —

обладатель высокого и драгоценного дара: в немногих словах выразить столь многое. Ибо его речи подобны монетам, из которых, по остроумному изречению древнего писателя (Плутарха), больше всего ценятся те, что представляют наибольшую ценность при наименьшем объеме.

М. Королицкий.

Анатолию Федоровичу Кони.

(Прочитано в день его юбилея в Доме Ученых [1])

Над твоей головой благородной
Пронеслось много тяжких годов;
Но не пал ты, духом свободный,
На жизненный подвиг готов.

Когда власть перешла к народу,
Ты с народом легко вздохнул:
Ты с радостью принял свободу
И смело в глаза ей взглянул!

По заветов своих не отринул,
И Россию любя, как мать,
В трудный час ее не покинул
И с нею остался страдать.

И вот ты стоишь перед нами,
Слабый телом, но духом большой:
Неугасно горящее пламя —
Зовется твоею душой.

Ты хранишь, как в ценном финале,
Умудренность пройденных лет,
И смягчает наши печали
Твой вечерний, но ясный свет.

Вечной мудростью дышет природа,
Каждый миг в ней по своему свят,
Но бывает прекрасней восхода
Спокойный и чистый закат.

И смотри: мы тебя окружаем...
Ты любим и ты не один:
Здесь и юность, цветущая маем,
И снег тебе близких седин.

С теплой нежностью единоверца
Я желаю тебе долгих дней.
Слава вечной юности сердца,
Слава юной душе твоей!

Т. Щепкина-Куперник.

---

[1]) 11 февраля 1924 г.

Из галлереи современников и знакомцев Пушкина.

(Пушкин и Лажечников).

Одною из отличительных черт всеобъемлющей души Пушкина была его исключительная и вполне сознательная благожелательность, сердечное доброжелательство, при полном отсутствии зависти к кому бы то ни было,—в частности—к литературным собратьям [1]). Появление всякого нового таланта среди немногочисленной в его время писательской семьи всегда искренно радовало его, за каждым молодым дарованием он следил с повышенным, всегда благожелательным вниманием. Чувства, которые питал Сальери к Моцарту были поняты и столь тонко обрисованы Пушкиным лишь благодаря особенно чуткой, исключительной его интуиции, способности перевоплощения,—ибо сам он был

---

[1]) По свидетельству П. А. Плетнева (Переписка с Я. К. Гротом, т. I, стр. 495) Пушкин, незадолго до смерти, на прогулке, сказал, что выше всего в человеке он ставит качество благоволения ко всем. О доброжелательстве Пушкина, как основном мотиве его творчества и личного характера, см. особый этюд П. Ф. Сумцова в «Журнале для всех» 1899 г., № V, стр. 549—556.

абсолютно чужд завистливых движений сердца, как ни близко подчас задевали его те или иные литературные явления, ставившие перед ним вопрос о возможном соперничестве. Уже не раз отмечалось наредкость восторженное отношение Пушкина к появлению таких талантов в поэзии, как Боратынский, Языков; известна та повышенная радость, с какою он, уже признанный первый поэт, встречал успехи этих своих младших современников, — которые, как нам теперь известно, вовсе не так спокойно относились к произведениям Пушкина и к нему самому, творцу этих произведений!.. То же, что было в области поэтического творчества, наблюдается и в области прозы [1]), критики, историографии: каждый истинный талант или дарование встречаются Пушкиным с сердечною, чистою радостью. Он дает отзывы о них и в печати, и в своих письмах — к самим-ли авторам или к третьим лицам. Благожелательство, впрочем, не ослепляло его, не мешало ему видеть недостатки там, где они были, клеймить всеми доступными средствами порок или бездарность всюду, где он их замечал: но все положительное, что встречал

---

[1]) См., напр., отношение к князю В. Ф. Одоевскому (1831 г.) —«Русск. Стар». 1904 г., № 4, стр. 206. Пушкин «бесился», что мало обращали внимания на новую повесть Одоевского «Последний квартет Бетховена» и находил, что автор «в этой пьесе доказал истину весьма для России радостную,—а именно, что возникают у нас писатели, которые обещают стать наряду с прочими европейцами, выражающими мысли нашего века».

Пушкин, он принимал с беспристрастным доброжелательством, приветствовал от души, как шаг вперед—к достижению недостижемого, но всегда влекущего к себе идеала.

В настоящей заметке мы хотим напомнить читателям один из многочисленных, почти безчисленных примеров такого доброжелательства Пушкина: пример этот касается современника Пушкина,—известного когда-то писателя и одного из благороднейших, честнейших и чистейших людей своей эпохи. Мы имеем в виду пользовавшегося в свое время громкою славою исторического романиста,—«Русского Вальтера-Скотта» —как называли его некогда,—Ивана Ивановича Лажечникова, великого поклонника и подражателя славного шотландского писателя [1]). Некогда имя его пользовалось широчайшей известностью, произведениями своими он сразу завоевал себе одно из самых блестящих мест в литературном мире; его роман «Последний Новик» был признан не только лучшим из русских исторических романов, но произведением, которое сделало бы честь любой европейской литературе... От сношений его с Пушкиным дошло до нас, правда, немного,—несколько писем и небольшие воспоминания Лажечникова,—но это немногое дает

---

[1]) «И теперь, после того, как прошло 30 лет с того времени, как я читал романы Вальтер-Скотта», писал в 1853 г. Лажечников Ф. А. Кони: «все лица его резко выступают перед вами; это ваши родные, ваши друзья, которых черты вы никогда не забудете» («Русск. Арх», 1912 г., III, стр. 142).

нам достаточный материал для того, чтобы восстановить характер их взаимных отношений, отметить, с каким добрым чувством встречал поэт литературный успех первого исторического романиста, а при том с благодарностью вспомнить и о самом Лажечникове,—прекрасном человеке и честном писателе, оставившем яркий, хоть и не слишком глубокий след в истории нашей словесности [1]).

Первое знакомство Лажечникова с Пушкиным состоялось при совершенно исключительных обстоятельствах, о которых дошел до нас двойной рассказ самого Лажечникова,—в одном его письме к поэту и в близко повторяющем рассказ этого письма отрывке из воспоминаний его о Пушкине. Обстоятельства эти настолько исключительны и характерны для молодого Пушкина, что нельзя отказать себе в удовольствии передать хотя бы часть рассказа Лажечникова,—тем более, что очень ценные по не-

---

[1]) Лишний повод к такому напоминанию дает нам то обстоятельство, что Лажечников был крестным отцом нашего недавнего юбиляра, Анатолия Федоровича Кони, который посвятил воспоминанию о Лажечникове несколько весьма тепло написанных страниц в 1-й части III тома своей книги «На жизненном пути» (1922 г., стр. 235—244).—11 писем Лажечникова к отцу А. Ф. Кони—Федору Алексеевичу Кони, за 1841—1867 годы, опубликованы в «Русск. Архиве» 1912 г., кн. III, стр. 141—151; в последнем из них, от 30 октября 1867 г., Лажечников с большим сочувствием говорил о своем крестнике: «Молодой человек многообещающий. Он дал мне слово нас навещать; умная беседа его и для меня, старого, будет очень приятна» и т. д.

которым подробностям воспоминания его о Пушкине мало кому знакомы [1]).

Свой рассказ Лажечников начинает с повествования о том, как, в августе 1819 г., он приехал в первый раз в Петербург и остановился в доме своего начальника, графа А. И. Остермана-Толстого (при котором был тогда адъютантом) на Английской набережной, не далеко от Сената; дом этот занимал целый квартал и другим своим фасадом выходил на Галерную улицу. Молодой, 27-летний поручик гвардейского Павловского полка, совершивший все походы великой войны с Наполеоном 1812—1814 г. г. и бывший при взятии Парижа русскими войсками, насквозь проникнутый романтическими настроениями той бурной эпохи и острым патриотическим чувством, Лажечников прибыл в Петербург человеком, уже получившим литературное крещение и лично знакомым с несколькими виднейшими тогда писателями—Гречем, Воейковым, С. и Ф. Глинками, Денисом Давыдовым, Жуковским, Вяземским и некоторыми другими авторами-современниками. Вспоминая о каждом из них и об обстоятельствах, при которых он познакомился с ними, Лажечников писал в своих воспоминаниях: «Но я еще нигде не успел видеть молодого Пушкина, издавшего в зиму 1819—1820 года «Рус-

---

[1]) Они напечатаны были впервые в «Русском Вестнике» 1856 г., т. I, № 4. стр. 603—622, а затем перепечатывались в Собраниях Сочинений Лажечникова, изд. 1858 (т. VII), 1881 (т. VII) и 1899 г. (т. I).

лан и Людмилу» [1]),—Пушкина, которого мелкие стихотворения, наскоро, на лоскутках бумаги, карандашом переписанные, разлетались в несколько часов огненными струями во все концы Петербурга и в несколько дней Петербургом вытверживались наизусть,—Пушкина, которого слава росла не по дням, а по часам. Между тем я был один из восторженных его поклонников». Затем Лажечников приступает к рассказу о том собственно «необыкновенном случае», который доставил ему знакомство с молодым, но уже широко известным поэтом.

Лажечников жил в той части дома Остермана-Толстого, которая выходила на Галерную улицу, в двух комнатах нижнего этажа, по первую от входа; за несколько дней до описываемых событий, он уступил приехавшему в Петербург майору Денисевичу [2]),—человеку малообразованному, старозаветному, фанфарону—с большим самомнением. «В одно прекрасное (помнится зимнее) утро»,—рассказывает Лажечников: «было ровно три четверти восьмого,—только что успев окончить свой военный туалет, я вошел

---

[1]) Следует исправить утверждение Лажечникова: к зиме 1819—1820 г. поэма «Руслан и Людмила» совсем еще не была знакома читателям: лишь весною 1820 г. появились из нея три отрывка в журналах, вся же поэма вышла в свет уже после ссылки поэта на юг,—а именно в конце июля—начале августа 1820 г.

[2]) В воспоминаниях своих Лажечников скрыл имя Денисевича под буквами N N,—но назвал его полностью в письме своем к Пушкину от 13 декабря 1831 г.

в соседнюю комнату, где обитал мой майор, чтобы приказать подавать чай. Денисевича не было в это время дома; он уходил смотреть, все ли исправно на графской конюшне. Только что я ступил в комнату, — из передней вошли в нее три незнакомые лица. Один был очень небольшой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с арабским профилем, во фраке. За ним выступили два молодца, красавцы, кавалерийские гвардейские офицеры, погромыхивая своими шпорами и саблями... Статский подошел ко мне и сказал мне тихим, вкрадчивым голосом; «Позвольте вас спросить, здесь живет Денисевич?»—«Здесь, отвечал я, но он вышел куда-то и я велю позвать его». Я только что хотел это исполнить, как вошел сам Денисевич».

Из происшедшего между молодым статским и майором разговора Лажечников узнал, что накануне вечером, в театре, Денисевич обидел этого статского своими замечаниями по поводу его поведения, которое сильно возмущало сидевшего рядом с ним майора: молодой человек, которому исполнявшаяся пьеса не нравилась, зевал, шикал, говорил громко: «несносно» и т. д. Майор сначала молчал, но потом, выведенный из терпения, сказал соседу, что он мешает ему слушать пьесу (которая ему, повидимому, очень нравилась). Молодой человек искоса взглянул на Денисевича и принялся шуметь попрежнему. «Тут Денисевич объявил своему неугомонному соседу, что попросит полицию вывести его из театра. «Посмотрим»,—отвечал тот хладнокровно—и продолжал повесничать. По окон-

чании спектакля и при выходе уже из театра, майор остановил своего соседа статского и, подняв указательный палец, сказал ему: «Молодой человек, вы мешали мне слушать пьесу... Это неприлично, это невежливо!»—«Да, я не старик», отвечал тот: но, господин штаб-офицер, еще невежливее здесь и с таким жестом говорить мне это. Где вы живете?» Денисевич сказал свой адрес и назначил приехать к нему в восемь часов утра, не подозревая, что тем самым формально вызывал своего противника на дуэль. Из разговора, последовавшего затем в квартире Лажечникова, последний узнал, что приехавший к Денисевичу, в сопровождении двух офицеров и с целью драться с майором на дуэли молодой человек был никто иной, как Пушкин... «При имени Пушкина», пишет Лажечников: «блеснула в голове моей мысль, что передо мною стоит молодой поэт, таланту которого уж сам Жуковский поклонялся, корифей всей образованной молодежи Петербурга,—и я спешил спросить его: «Не Александра-ли Сергеевича имею честь видеть перед собою?»

— «Меня так зовут»,—сказал он улыбаясь.

«Пушкину—подумал я: Пушкину, автору «Руслана и Людмилы», автору стольких прекрасных мелких стихотворений, которые мы так восторженно затвердили,—будущей надежде России, погибнуть от руки какого-нибудь Денисевича или убить какого-нибудь Денисевича и жестоко пострадать... нет, этому не бывать! Во что-б ни стало устрою мировую, хотя-б и пришлось немного покривить душой».

И действительно, уведя Денисевича в свою комнату и «потратив ораторского пороху довольно», Лажечников так запугал майора перспективою возможных последствий дуэли с сыном «знатного человека», что заставил его извиниться перед Пушкиным и, таким образом, предотвратил дуэль. Денисевич протянул-было даже Пушкину руку, но тот не подал ему своей, сказав только: «извиняю»—и удалился со своими спутниками. «Скажу откровенно», вспоминает Лажечников,—«подвиг мой испортил мне много крови в этот день... Но теперь, когда прошло тому тридцать шесть лет, я доволен, счастлив, что на долю мою пришлось совершить его. Если-б я не был такой жаркий поклонник поэта, уже и тогда предузнавшего свое будущее величие; еслиб на месте моем был другой, не столь мягкосердный служитель музы, а черствый, браннолюбивый воин, который, вместо того, чтобы потушить пламя раздора, старался бы еще более раздуть его; еслиб я повел дело иначе, перешел только через двор к одному лицу, может быть Пушкина не стало бы еще в конце 1819 года, и мы не имели тех великих произведений, которыми он подарил нас впоследствии. Да, я доволен своим делом, хорошо или дурно оно было исполнено. И я ныне могу сказать, как старый капрал Беранже:

Puis, moi, j'ai servi le grand homme!

... Через несколько дней увидал я Пушкина в театре»,—заключает Лажечников свой рассказ об эпизоде с майором Денисевичем. «Он первый подал

мне руку, улыбаясь. Тут я поздравил его с успехом «Руслана и Людмилы» [1]), на что он отвечал мне: «О! это первые грехи моей молодости!»—«Сделайте одолжение, вводите нас почаще такими грехами в искушение», — отвечал я ему».

После описанного поистине необычайного эпизода, познакомившего столь случайно молодого поэта с одним из многих его пламенных поклонников [2]). пути их обоих резко и надолго разошлись: Пушкин успел отбыть свою ссылку на юге и заключение в Михайловском уединении, дождался «освобождения» и вызова в Москву во время коронации, провел и бурные 1826—1830 годы, заполненные у него многочисленными поездками по России и по Кавказу,— наконец, пережил период увлечения Гончаровой и женился на ней; в сфере поэтической — создал все свои поэмы, «Онегина», «Бориса Годунова», маленькие драмы и многие другие перлы своего

[1]) Напомним еще раз, что Лажечников ошибается насчет хронологии событий: «Руслан и Людмила» вышел в свет уже после высылки Пушкина из Петербурга, так что речь может итти о встрече с Пушкиным не в конце 1819 г., а лишь весною 1820 года, после появления в журналах трех отрывков поэмы; кое-что из нее Лажечников мог знать, конечно, и из рукописных копий, которые могли ходить по городу и раньше появления поэмы в печати.

[2]) Об этой встрече с Пушкиным Лажечников упоминает даже в своей краткой автобиографии («Известия книжных магазинов М. О. Вольфа» 1899 г., № 9—10, ст. 183): такое значение он придавал этому эпизоду.

творчества; Лажечников же из гвардейского офицера с большим боевым формуляром давно уже — с конца 1820 г. — превратился в мирного работника на ниве народного просвещения, в должностях директора Пензенских училищ, Казанской гимназии и, с 5 марта 1831 г., — училищ Тверской губернии. Одним словом, прошло более десятка лет прежде, чем между Пушкиным и Лажечниковым вновь завязались отношения, хотя и заочные, и кратковременные.

Давно уже — еще с 1826 г. — работая над созданием исторического романа на тему из Русской истории [1]), Лажечников в конце 1831 года выпустил в свет два томика своего «Последнего Новика». Успех его был большой, совершенно исключительный. Ободренный этим успехом, скромный Лажечников послал свои книжки Пушкину, снабдив их трогательною надписью: «Первому Поэту Русскому Александру Сергеевичу Пушкину с истинным уважением и совершенною преданностью подносит Сочинитель. 18 декабря 1831. Тверь» [2]) и предварив не менее трогательным письмом, в котором вспомнил о своем участии в мирном окончании ссоры Пушкина с майором Денисевичем.

---

[1]) О генезисе интереса к историческому роману у Лажечникова см. в статье о нем С. А. Венгерова при издании сочинений Лажечникова 1899 г., т. I, стр. XLVI и след.

[2]) См. Б. Л. Модзалевский, Библиотека А. С. Пушкина, СПБ. 1910, стр. 56. Ныне этот экземпляр, как и вся библиотека поэта, находится в Пушкинском Доме при Российской Академии Наук.

«Милостивый Государь Александр Сергеевич!» писал Лажечников из Твери 13 декабря 1831 г. «Волею или неволею займу несколько строк в истории Вашей жизни. Вспомните Малороссца Денисевича с блестящими, жирными эполетами и с душою трубочиста, вызвавшего вас в театре на честное слово и дело за неуважение к Его Высокоблагородию; вспомните утро в доме Графа Остермана, в Галерной, с Вами двух молодцов Гвардейцев, ростом и духом исполинов, бедную фигуру Малороссца, который на вопрос Ваш: приехали ли Вы во время? отвечал нахохлившись, как индейский петух, что он звал Вас к себе не для благородной разделки рыцарской, а сделать Вам поучение, како подобает сидети в Театре, и что Майору не прилично меряться с фрачным; вспомните крохотку-Адъютанта [1]), от души смеявшегося этой сцене и советовавшего Вам не тратить благородного пороха на такой гад и шпор пронии на ослиной коже. Малютка-Адъютант был Ваш покорнейший слуга — и вот, по чему, говорю я, займу волею или неволею строчки две в Вашей истории. Тогда видел я в Вас Русского дворянина, достойно поддерживающего свое благородное звание; но когда узнал, что Вы — Пушкин, творец Руслана и Людмилы и столь многих прекраснейших пиес, которые лучшая публика России твердила с восторгом на память — тогда я с трепетом благоговения смотрел на Вас, и в числе тысячей поклонников прино-

[1]) Лажечников был очень мал ростом. *М. Б.*

спл к треножнику Вашему безмолвную дань. Заглавный безвестностью в последние ряды писателей, смел ли я сблизиться с Вами? Ныне, когда голос избранных Литераторов и собственное внимание Ваше к трудам моим выдвигает меня из рядовых словесников, беру смелость представить Вам моего Новика, счастливый, если первый Поэт Русский прочтет его, не скучая. 3-ю часть получить изволите в первых числах Февраля».

Пушкин не откликнулся на это милое письмо,— но, конечно не почему-либо иному, как по недосугу или по причине суетливости жизни, которую он вел в первый год своей женитьбы; к тому же письмо Лажечникова пришло в Петербург, когда он был в Москве,— написать ответ своевременно он так и не собрался. Но в добром и памятливом сердце своем он отпечатлел и содержание письма Лажечникова, и самый факт присылки ему «Новика», который, без сомнения, он прочитал внимательно: Пушкин, как известно, сам очень интересовался историческим романом и повестью, как литературным жанром, был большим поклонником Вальтера Скотта (сочинения которого любил и знал превосходно) и других европейских писателей того же типа — Дефоэ, Фильдинга, Ричардсона, Стерна и многих других: «Арап Петра Великого» (1827),— отрывки из которого появились еще в конце 1828 и в начале 1830 г.,— «Повести Белкина» и, наконец, «Дубровский», «Капитанская Дочка», ряд набросков и планов, — все эти попытки свидетельствуют о давнем и повышенным

интересе поэта к исторической повести и роману [1]). Он восторженно встретил выступление Загоскина и прерывал «увлекательное чтение» «Юрия Милославского» для того, чтобы поскорее написать (11 января 1830 г.) автору несколько горячих приветственных строк; находил он достоинства и в «Рославлеве» Загоскина, романы которого вообще склонен был считать выше романов Альфреда де Виньи [2]). Нет сомнения, что и роман Лажечникова привлек к себе особенное внимание Пушкина, который и в данном случае проявил к автору «Новика» то исключительно благожелательное отношение, о котором мы говорили в начале нашей заметки; это благожелательство было чуждо и тени того, что французы называют «jalousie de métier»,— ревностию соперничества.

Издание «Новика»,— его последнего, 4-го томика, закончилось лишь в 1833 году; по выходе 3-й части, Лажечников послал ее Пушкину из Твери через одного своего знакомого, который писал по этому случаю Лажечникову 19-го сентября 1832 г.: «Благодарю вас за случай, который вы мне доставили

---

[1]) Подробности см. в статьях: С. Аусленде ра об «Арапе Петра Великого» — Соч., ред. Венгерова, т. IV, стр. 104 и след., М. Л. Гофмана о «Капитанской Дочке» — ibid., стр. 353 и сл. Н. О. Лернера, Проза Пушкина, Пгр. 1923, стр. 29—52. О русской исторической повести типа Вальтера Скотта литература указана в книге Н. К. Пиксанова: Два века Русской Литературы, М. 1923, стр. 78.

[2]) Переписка, Акад. изд., т. II, стр. 267, 318, 389; т. III, стр. 150.

увидеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забиякой... На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривал же с ним, замечаешь, что у него есть тайна— его прелестный ум и знания. Ни блесток, ни жеманства в этом князе русских поэтов! Поговоря с ним, только скажешь: он умный человек. Такая скромность ему прилична».— «Совестно мне повторять слова», прибавляет Лажечников: «которыми подарил меня Пушкин при этом случае; но, перечитывая их ныне, горжусь ими. Почему же не погордиться похвалою Пушкина»...

Письмо Пушкина и его похвалы (если они были изложены в отдельном письме поэта, а не переданы в письме приятеля и корреспондента Лажечникова) нам, к сожалению, не известны,— но мы знаем, по черновику более позднего, не дошедшего до нас (или неотправленного) письма поэта к Лажечникову от первой половины 1834 г., как он относился к романисту. Благодаря Лажечникова за присылку ему, при письме от 30 марта 1834 г., рукописи Рычкова, касавшейся Пугачева,— Пушкин писал, что несколько раз, проезжая через Тверь, он желал возобновить старое знакомство, но никогда не имел случая представиться Лажечникову и благодарить его — во-первых, за то «истинное наслаждение», которое он доставил ему своим первым романом («Новиком»), а во-вторых, и за внимание, которым «удостоил» его автор, при-

слав свою книгу: «С нетерпением ожидаю нового Вашего творения», писал Пушкин: «из коего прекрасный отрывок читал я в Альманахе Максимовича [1]). Скоро ли он выдет и как вы думаете его выдать? Ради бога, не по частям»,—прибавлял Пушкин, так как, по его мнению, этот способ вредит занимательности, целостности впечатления и успеху книги. «Последний Новик», говорит поэт: «выводил нас из терпения перерывом появления своих частей: эти рассрочки выводят из терпения многочисленных ваших читателей и почитателей»,—заключал Пушкин [2]).

Возвращая Лажечникову через полтора года упомянутую рукопись Рычкова и извиняясь, что еще не доставил ему экземпляра «Истории Пугачевского бунта», Пушкин писал ему в Тверь (3-го ноября 1835 г.): «Позвольте, Милостивый Государь, благодарить вас теперь за прекрасные романы, которые все мы прочли с такою жадностию и с таким наслаждением. Может быть, в художественном отношении, Ледяной Дом и выше Последнего Новика, но истина историческая в нем не соблюдена, и это современем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию; но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык.

---

[1]) В альманахе М. А. Максимовича «Денница на 1834 г.» был помещен отрывок из «Ледяного Дома», содержавший яркий эпизод «Ледяная статуя» (стр. 129—152); другой отрывок («Язык») появился в «Телескопе» 1834, т. XX.

[2]) Переписка, т. III, стр. 97—98.

За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лицо мученика. Его донесение Академии трогательно чрезвычайно. Нельзя его читать без негодования на его мучителя [1]). О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастие быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в правах народа. Впрочем он имел великий ум и великие таланты...»

Лажечников, в ответном письме от 22-го ноября [2]). «счел за честь поднять перчатку», брошенную ему «таким славным литературным подвижником», — и пространно, со ссылками на исторические источники и на свидетельства очевидцев, поддерживал свою точку зрения и на Волынского [3]), и на Тредьяковского, «педанта и подлеца», и, особенно, на Бирона, с которого «никакое перо, даже творца Онегина и Бориса Годунова, не в состоянии снять позорное клеймо, которое история и ненависть народная, передаваемая от поколения поколению, на нем выжгли». Оспаривал, далее, Лажечников и мысль Пушкина о том, что

---

[1]) Рассказ о побоях, нанесенных Волынским Тредьяковскому, Пушкин внес еще в свои «Отрывки из писем, мысли и замечания», напечатанные в «Сев. Цветах» Дельвига на 1828 год.

[2]) Переписка, т. III, стр. 251—256.

[3]) О Волынском см. очерк Д. А. Корсакова в его книге: «Из жизни Русских деятелей XVIII века», Казань. 1891.

«ужасы Бироновского тиранского управления были в духе того времени и в праве народа. Приняв это положение», писал он: «надобно будет все злодеяния правителей отнести к потребностям народным и времени. Признаю кнут справедливым и необходимым для нашего Русского народа за преступления его; но не понимаю, почему-бы он требовал за неплатеж недоимок окачивания на морозе холодною водой и впускания под ногти гвоздей. Впрочем народ наш до Бирона и после Бирона был все тот-же; думаю, что он не изменился и ныне или очень мало изменился к лучшему. Долго еще будет ходить за современную практическую истину пословица: гром не грянет, Русский не перекрестится. Решительно скажу, что чувства нравственного (и даже религиозного), как у немецкого крестьянина нашего времени, и теперь не существует в нашем народе, и до тех пор не будет, пока не подумают о воспитании его те, которые должны об этом думать [1]). Но об этом когда-нибудь после, и печатно, если удастся!.. И за что-ж дух этого Русского народа требовал ужасных Бироновских пыток? Бунтовал-ли он против своей царицы или поставленных от нее властей? Нарушал ли он общественное спокойствие?— Ничего этого не было. Денег, золота требовал Бирон у этого бедного, тогда голодного народа, требовал у него брилпантов для своей жены, роскошной жизни для себя, — и народ,

[1]) «Говорю это единственно из любви к моему отечеству и преданности моим царям» (Осторожная оговорка Лажечникова).

не в состоянии дать ни того, ни другого, должен был выдерживать всякого рода муки, как народы Колумбии, когда они отдали мучителям все свое золото и не могли ничего более дать. Почему дух времени и нравы народа не требовали Бироновских казней при Екатерине I, Петре II, Анне Леопольдовне, Елизавете, Екатерине II и ее преемниках? Народ, как мы сказали, все тот-же.» — Свое длинное и горячо написанное письмо Лажечников кончал извинением, что ответил на строки Пушкина «целою скучною тетрадью».— «Я хотел», писал он: «защитить себя от несправедливых упреков и, между тем, защитить память русского патриота. Я молчал бы», добавлял Лажечников: «если бы писал мне г. Сенковский» (критику которого он «не ставил ни во что»), «но ваши упреки задели меня за живое. Ответом моим хотел я доказать, что историческую верность главных лиц моего романа старался я сохранить, сколько позволяло мне поэтическое создание, ибо в историческом романе истина всегда должна уступить поэзии, если та мешает этой. Это—аксиома. Вините также славу вашу за эту длинную тетрадь. Ваши похвалы так вскружили мне голову, что я в восхищении от них забыл время и записался. Искренностью моего письма хотел я также доказать то глубокое уважение, которое всегда имел к вам».

Составляя, двадцать лет спустя, воспоминания о знакомстве с Пушкиным и приведя в них письмо поэта от 3-го ноября 1835 г., которое он тогда хранил «как драгоценность», — Лажечников, пользуясь

копией своего ответа Пушкину (приведённого нами выше), повторил в них все возражения, которые он сделал тогда поэту. «Я крепко защищал в нем» (в ответном письме), пишет он: «историческую истину, которую оспаривает Пушкин. Прежде, чем писать мои романы, я долго изучал эпоху и людей того времени, особенно главные исторические лица, которые изображал. Например, чего не перечитал я для своего «Новика»! Могу прибавить, — я был столько счастлив, что мне попадались под руку весьма редкие источники. Самую местность, нравы и обычаи страны списывал я во время моего двухмесячного путешествия, которое сделал, проехав Лифляндию [1]) вдоль и поперек, большею частью по проселочным дорогам. Так же добросовестно изучил я главные лица моего «Ледяного дома» на исторических данных и достоверных преданиях». Поэтому упреки Пушкина по своему адресу он считал незаслуженными и продолжал отстаивать свою точку зрения и на действующих лиц своего романа, и вообще на описанную им эпоху. Впрочем, он должен был сознаться, что по отношению к Тредьяковскому он был не совсем справедлив, и что Волынский, действительно, поступил с ним жестоко, даже бесчеловечно; однако, не соглашался с Пушкиным в том, что Тредьяковский достоин уважения потомства... По поводу же своих возражений Пушкину на его суждения о Бироне, — Лажечников

---

[1]) Действие «Последнего Новика» развивается на фоне событий, относящихся к завоеванию Лифляндии при Петре Великом.

йисал, что оправдание поэтом Бирона он считал «непостижимою» для него «обмолвкой великого поэта». «Винюсь», говорит он: «я принял горячо к сердцу обмолвку Пушкина, — особенно на счет духа времени и нравов народа, требовавших будто казней и угнетения, и слова, которые я употребил в возражении на нее, были напитаны горечью. Один из моих приятелей, прочитав мой ответ, сказал, что я не поскупился в нем на резкие выражения, которые можно и должно было написать,—только не Пушкину. «Рассердился ли он за них?» — спросил меня мой приятель. — «Я сам так думал, не получая от него долго никакого известия», — отвечал я. «Но Пушкин был не из тех себялюбивых чад века, которые свое *я* ставят выше истины. Это была высокая, благородная натура. Он понял, что мое негодование излилось в письме к нему из чистого источника, что оно бежало неудержимо через край души моей, и не только не рассердился за выражения, которыми другой мог бы оскорбиться,—напротив, проезжая через Тверь, помнится, в 1836 году) [1]), прислал мне с почтовой станции следующую коротенькую записку. Как увидите, она вызвана одною любезностию его и доброю памятью обо мне.

---

1) Лажечников не ошибся: это было 1-го мая 1836 года; в этот день поэт видался с князем Козловским, секундантом графа В. А. Соллогуба, с которым должен был драться на дуэли. См. А. С. Поляков. О смерти Пушкина. По новым данным. Труды Пушкинского дома при Российской Академии Наук, Пб. 1922, стр. 10, 77.

«И всё еще надеялся, почтенный и любезный Иван Иванович, лично благодарить вас за ваше ко мне благорасположение, за два письма, за романы [1]) и пугачевщину, но неудача меня преследует. — Проезжаю через Тверь на перекладных и в таком виде, что никак не осмеливаюсь к вам явиться и возобновить старое, минутное знакомство.—Отлагаю до сентября, то есть до возвратного пути; покамест поручаю себя вашей снисходительности и доброжелательству. Сердечно вас уважающий Пушкин».

«Записка без числа и года»,—замечает Лажечников. «Подпись много порадовала меня: она выказывала добрую, благородную натуру Пушкина; она восстановляла хорошие отношения его ко мне, которые, думал я, наша переписка расстроила».

Лажечников мечтал еще раз лично повидаться с своим любимым поэтом, в котором он так высоко ставил и личные, человеческие качества, — но мечте его не суждено было осуществиться: «В последних числах января 1837 года», заканчивает он свои воспоминания о Пушкине: «приехал я на несколько дней из Твери в Петербург. 24-го и 25-го был я у Пушкина, чтобы поклониться ему, но оба раза не застал его дома. Нельзя мне было оставаться долее в Петербурге, и я выехал из него 26-го вечером. 29-го—Пушкина не стало... Потух огонь на алтаре!»

---

[1]) К тому времени Пушкин познакомился и со вторым романом Лажечникова, — «Ледяным Домом», изданным в 1835 году.

Зная чувствительное сердце Лажечникова, легко можно представить, как горько оплакивал он преждевременную и неожиданную смерть своего любимого поэта... [1])

Память о нем был для него всегда дорога и впоследствии, что̀ видно, между прочим, из того, как он ценил и берег письма к нему Пушкина и как заботился об их сохранении. Когда в 1858 году он выпустил в свет первое собрание своих сочинений, известный библиограф Н. М. Лонгинов, — служивший тогда в Москве,—поместил в журнале «Атеней» статью о Лажечникове [2]); последний был очень доволен отзывом Лонгинова и писал ему, что отзывом этим он «подарил ему один из самых приятных часов в его жизни» [3]). Желая показать Лонгинову, как ценит он его доброе о себе мнение, он писал ему: «При свидании в Москве [4]) я попрошу вас принять от меня на память письмо ко мне Пушкина по случаю полу-

---

[1]) За месяц до смерти Пушкин вспомнил Лажечникова в письме к Н. М. Коншину, который хлопотал тогда о получении места Директора училищ в Твери: «Заняв место Лажечникова», писал ему Пушкин: «не займетесь ли вы, по примеру вашего предшественника, и романами? а куда бы хорошо!» (Переписка, т. III, стр. 429).

[2]) Перепечатана в сочинениях М. Н. Лонгинова, издание Л. Э. Бухгейма, т. I, М. 1915, стр. 491—498.

[3]) Письмо (неизд.) в Пушкинском Доме, от 10 сентября 1858 года.

[4]) Письмо это писано из с. Кривякина, под Коломной.

чения им моего Ледяного Дома и ответ мой на это письмо. У вас они сохранятся лучше и, может быть, когда-нибудь пригодятся»; а в одном из следующих писем — от 16-го ноября 1858 г., он послал ему оба письма к себе Пушкина [1]). Приводим это, очень интересное, неизданное письмо, — тем более любопытное, что в нем Лажечников, между прочим, снова возвращается к тому же давнему спору своему с Пушкиным по поводу его мнения об ошибках, допущенных Лажечниковым при обрисовке некоторых действующих лиц в «Ледяном Доме», и защищается от критики А. Н. Афанасьева в статье последнего: «Об исторической верности в романах И. И. Лажечникова [2]).

Милостивый Государь,
Михайла Николаевич.

Посылаю вам обещанные мною письма Пушкина ко мне и комедию: Точь в точь, игранную в Сибири в 1774 году. Сочинитель ее Г. Веревкин. Прошу покорно принять от меня то и другое на память [3]). Ответ мой Пушкину я не нашел в своих бумагах.

Из письма ко мне Пушкина вы увидите, справедливо ли я назвал обмолвкою великого писателя слова

---

[1]) В архиве Лонгинова, ныне находящемся в Пушкинском Доме, этих писем Пушкина к Лажечникову не находится, и куда они попали, нам неизвестно...

[2]) «Атеней» 1858 г., ч. V, № 11, стр. 364—378.

[3]) Прошу располагать ими, как вам угодно.

его, что «тиранское управление Бирона было в духе того времени и во правах народа, которым он управлял». Приняв это положение, надобно будет все злодеяния правителей отнести к потребностям времени и народа. Положим, законы, взыскивающие за преступления, могут быть издаваемы более или менее строгие, смотря по нравам народа; но никогда тиранское управление не может быть в духе времени и народа. История оправдывает иногда грозное управление государственных людей за их ум и таланты, за благодетельную для их отечества цель, к которой они стремились. Так историческая правда смотрит на дела Ришелье. Но какой великий ум и какие таланты правителя народного имел Бирон? То и другое должно доказываться делами. Что ж славного и полезного для России сделал временщик? Быть может, какой-нибудь лихой наездник-историк, в роде Афанасьева, велит нам снять шапку перед его памятью за то, что он, ничтожный выходец, умел согнуть Петрову Россию в бараний рог и душил нас, как овец? Или, может статься, велит он увидеть его ум и великие таланты в мастерской езде верхом на разные манеры, или в том, что он имел искусство сесть не в свои сани?.. Других памятников своего искусства править он нам не оставил.

В одном из последних №№ Атенея прочел я ожесточенный разбор моих романов. В оправдание свое повторю то, что я сказал в статье моей: «Знакомство мое с Пушкиным». Прибавлю еще, что я писал о

Волынском под благородным впечатлением, окружавшим в 30-х годах могилу его, когда с восторгом повторялись известные стихи [1]):

. . . . . приведи
К могиле мученика сына:
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина.

Сама великая Екатерина в завещании своем, приложенном к следственному делу Волынского, оправдала его: такому авторитету верить можно. Копию с этого завещания, списанную мною со всею точностью с подлинника, который я получил в 1837-м году от Жуковского, посылаю вам — на случай, если вы ее не имеете. Из нее увидите, что следствие над Волынским производилось под пытками: хороша истина, выжатая клещами и на дыбах!! достойно исторического вероятия следственное дело, произведенное таким образом!.. Если следствие напечатано кем в Трудах исторического общества — конечно, ради оправдания отчета о нем, сделанного некогда одним сильным лицом, — то почему ж было не напечатать завещания мудрой государыни, из которого некоторые изречения следовало бы начертать золо-

---

[1]) Рылеева, из его известной «Думы» «Волынский». *Б. М.* О некоторой идеализации образа Волынского поэтами и писателями, — в том числе и Лажечниковым («одним из наиболее уважаемых людей в России») под влиянием «Думы» Рылеева пишет в своих «Mémoires» известный князь П. В. Долгоруков (t. I, Genève. 1867, p. 433).

тыми буквами? [1]) Тогда права обвинителей и адвокатов Волынского были бы более уравновешены. Легко критику осуждать меня под защитою обнародованного акта, когда он знает, что другой, сильнейший документ, его опровергающий, не мог быть издан в свет. Он нападает с оружием, которое дано ему правительством в руки против человека, не имеющего права употребить оружие, которое ему запрещено. Благородно ли это? Притом справедливо ли взыскивать с меня за то, что я изобразил в 1835 году Волынского не по историческим сведениям, сделавшимся известными только в 1858 году и до сих пор бывшим под государственным секретом? И по юридическим началам закон только со времени его издания имеет силу, а не действует назад. Разве шемякинский или афанасьевский суд действует иначе. Признаюсь, виноват, кругом виноват за то, дескать, что не знал в 1835 году то, что можно было только узнать в 1858 году?

И за отрывок Колдуна на Сухаревой башне [2]) критик ожесточается против меня. Упреки в искажении

---

[1]) Вот слова Екатерины II о деле Волынского: «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дело от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел... Волынский был... добрый и усердный патриот... смертную казнь терпел, быв невинен». *Б. М.*

[2]) Неоконченный исторический роман Лажечникова (из жизни графа Я. В. Брюса), начало которого было напечатано в «Отеч. Зап.» 1840 г., № 60.

мною характера молодого Долгорукого также пристрастны и несправедливы. Напечатанные мною письма [1]) (по просьбе книгопродавца) служили только вступлением к роману: Колдун на Сухар. б. Весь роман не был бы написан в эпистолярной форме, а в повествовательной, по главам. По письму Долгорукого к Финку нельзя судить, как разовьется характер первого в последствии романа: да и Долгорукий играет в нем не главное лицо — главные лица у меня Брюс и его племянник, женившийся потом на княжне Долгорукой, бывшей невестой Петра II, когда она возвратилась из Сибири. В этом письме Долгорукий выражается, как мальчик, хотя и с прекраснейшими мечтами о счастии России, но более всего занятый голубою лентою через плечо, обер-камергерским мундиром и красотою девушки, с которою он стоять будет в церкви под брачным венцом. Кто не знает, что много обещавшие юноши не исполняли прекрасных надежд, которые они сулили! В письме барона Остермана к Брюсу (стр. 440 и 441-я) вернее обозначается, чего должна ждать Россия от таких людей, каковы члены семейства Долгоруких. «Пожалеешь и его (Меньшикова) — пишет Остерман — когда подумаешь, кто его заменяет. По крайней мере, он был с великими заслугами Петру и отечеству, имел великий ум, испытанное мужество: а теперь его наследники... подумать-то страшно, что за люди!» и далее: «Предсказываю на несколько лет царство

[1]) Роман был начат в форме писем. *Б. М.*

детей... Страшусь не без причины за творения Петра Великого. Ты знаешь отца и дядю маленького фаворита: не великие по душевным качествам, они захватили бразды правления. Можно судить, куда эти возничие умчат колесницу России, если скоро не успеют сами сломить себе шею». Почему ж притом, осуждая меня по одному вступлению к роману и то по одному письму юноши Долгорукого, то есть по одной стороне медали, не вздумать взглянуть на другую сторону ее?..

Не знаю, что и сказать об оправдании Бирона критиком, по словам князя Щербатова, будто «народ был порядочно управляем, не был отягощаем налогами», когда все историки времен Анны Иоанновны именно и называют управление временщика тираническим, кровожадным, за жестокие истязания народа во взыскании налогов. Отчего ж ходил такой стон по земле русской? отчего ж целые селения бежали тогда в Литву? не от благодетельного же правления? [1]) Я начинаю сомневаться, не возникла ли эта защита Бирона ради того, что сильные потомки его еще здравствуют и имеют родственные связи с сильными и знатными фамилиями русскими? Да и г-дин Афанасьев не приходится ли с родни Тредьяковскому?..

Наконец скажу, — меня судит, как биографа, как историка, а не как исторического романиста. Если бы

[1]) Уж не Доимочный ли Приказ свидетельствует о попечении народном?

разбирать так строго исторические характеры в романах самого Вальтер-Скотта, сколько бы нашлось в них романических прикрас? [1])

Не вдаваясь в печатную полемику с г-ном Афанасьевым, вот все, что я хотел сказать вам в защиту свою. Простите, если я наскучил вам ею.

Прошу верить в совершенное уважение и искреннюю преданность.

Ваш покорнейший слуга
И. Лажечников.

С. Кривякино,
16-го ноября 1858.

Тон глубокого убеждения звучит в этом письме заслуженного писателя,—убеждения, но не пристрастия. И действительно, современники свидетельствуют, что Лажечников был совершенно чужд этого чувства, что он умел быть совершенно беспристрастным. Человек «в высочайшей степени добрый, откровенный, совестливый, нежный», — по отзыву близко и издавна знавшего его К. Н. Лебедева [2]), Лажечников

---

[1]) Право исторического романиста на отступления от хронологии и от строгого соответствия данным истории всех деталей произведения Лажечников отстаивал и в печати: «исторический романист»,—писал он в прологе к своему «Басурману» (Соч., изд. 1858 г., т. V),—«должен следовать более поэзии истории, нежели хронологии ее. Его дело не быть рабом чисел; он должен быть только верен характеру эпохи и двигателя ее, которых взялся изобразить», и т. д.

[2]) См. его Записки—«Русск. Арх.» 1910, кн. II, стр. 368.

с редкою любовию и в то же время беспристрастием следил за литературою, отзываясь на всё талантливое, что появлялось в ней: он, по выражению П. И. Панаева, принадлежал к тем «живым, избранным и редким натурам, которые никогда не стареются духовно и потому чувствуют всегда большую наклонность к молодым поколениям. За это их не очень жалуют их сверстники и вообще все отсталые люди, идеал которых не в будущем, а в прошедшем. Тажечников — едва-ли не единственный из литераторов своего времени..., искренно и без всякой задней мысли, с полным сочувствием всегда протягивающий руку всем замечательным деятелям последующих литературных поколений. Он располагает к себе с первого взгляда своею простотою, мягкостью, благодушием. Он настоящий поэт, увлекающийся, беспечный, исполненный фантазий, чуждый всякого практического такта, не уживающийся с действительностью и не входящий с нею ни в какие сделки...» [1]) Любя и почитая Белинского и пользуясь привязанностью последнего, он высоко ставил Гоголя, восторгался Тургеневым, до конца дней своих как бы оставаясь чистым и увлекающимся юношей, простосердечным, «неисправимым» идеалистом. «Почувствовавши к кому-нибудь симпатию, он отдавался ей весь, пылко, искренно, как юноша», — свидетельствует Т. П. Пассек. Одною

---

[1]) Литературные воспоминания, СПБ. 1888, стр. 275. Ср. с подобным отзывом Н. В. Станкевича: Переписка, М. 1914, стр. 335.

из таких симпатий Лажечникова был, несомненно, Пушкин, память которого всегда была особенно дорога ему: к ней относился он с таким благоговением, что когда, в 1856 г., Г. Е. Благосветлов написал статью «История русского романа» и в ней отвел Лажечникову, как романисту, высокое место, последний писал А. В. Старчевскому, что «чести стоять между Гоголем и Пушкиным он не заслуживает...» [1]) Конечно, Лажечников был прав, отводя себе в истории русской литературы более скромное место [2]), но заслуженного им никто у него отнять не вправе: Лажечников должен считаться родоначальником русского исторического романа: в этом отношении он занимает почетное место в истории нашей словесности, и имя его может быть поставлено наряду с Пушкиным, если последнего считать родоначальником нашего художественного романа. Успех в современном ему образованном обществе романы Лажечникова имели чрезвычайный, по выражению одного критика — жгучий, — и похвала Пушкина, вы-

[1]) «Историческ. Вест.» 1892 г., № 11, стр. 327; Погодин, однако, готов был ставить прозу Лажечникова (и Загоскина) рядом с прозою Карамзина и Гоголя (Н. Барсуков, Жизнь и труды Погодина, т. VI, стр. 182, 184), а чуткий Н. В. Станкевич считал (1835), что Лажечников — «лучший романист после Гоголя» (Переписка Н. В. Станкевича. 1830 — 1840. Редакция и издание Алексея Станкевича, М. 1914. стр. 335).

[2]) Белинский в «Литературных Мечтаниях» писал (1834), что Лажечников «по справедливости признан первым русским романистом».

сказанная по адресу романов Лажечникова, — не фраза: их долго читали и перечитывали с наслаждением; поэтому прав был Лонгинов, когда говорил, что имя Лажечникова «не умрет в летописях нашей литературы, в которые навсегда занесены: «Последний Новик», «Ледяной Дом» и «Басурман».

Б. Модзалевский.

И. С. Тургенев в письмах к Полонским.

(Отрывок).

«Драгоценный матерьял о Тургеневе дают его письма. В них не только сказывается великий русский писатель с своими печалями и страданиями, с отношением к родине, к жизни и смерти, к искусству и творчеству и, наконец, к самому себе и друзьям, но и блестит его юмор и тихо светится задушевная грусть, сопровождавшая его, повидимому, всю жизнь. Тут нет ничего сочиненного или придуманного... В них Тургенев, говоря о том или другом, незаметно для себя, свидетельствует о самом себе».

А. Ф. Кони.

I.

Одно время в читающей публике и в литературе было модою или признаком хорошего тона (передового модернизма) хулить Тургенева. Хулили его и как писателя, и как общественного деятеля, и как человека; осыпали его инвективами, впрочем, еще при жизни, но и после смерти не оставили в покое.

Специально говорили: Тургенев не мог быть хорошим человеком, раз с ним расходилось столько замечательных людей, бывших сначала его друзьями. За таким утверждением приводили эффектные примеры: Бакунин и Герцен, Некрасов, Достоевский, Лев Толстой, Гончаров, Фет... Все они отталкивались или отказывались от Тургенева. А марая его, как человека, пристрастно пользовались перечисленными авторитетами, чтобы унизить его и как писателя.

Но ведь названные были не все «друзья». Тургенев только стремился к сближению с ними по врожденному влечению почитать и любить, бескорыстно и свято, носителей гениальности или даров духа вообще. Но они отвращали его своими поступками или делами, чуждыми его душе, по отношению к нему и к другим, как Некрасов, Гончаров [1]) или.

. . . . . .

[1]) С Некрасовым разошлись почти все друзья вследствие нестерпимости его характера и поведения, каково бы ни было конечное суждение о его противоречивой личности; а невозможность дружеских отношений для Тургенева с Гончаровым теперь подлинно обнаружена опубликованным от него лично исходящим матерьялом, свидетельствующим о возмутительной или патологической подозрительности и зависти, которая горела в нем по отношению к неповинному Тургеневу, См. «Необыкновенная история», неизданная рукопись И. А. Гончарова в «Сборнике Российской Публичной Библиотеки» (Петрогр. Брокгауз-Ефрон, 1923). Ср. Б. М. Энгельгардт. И. А. Гончаров и И. С. Тургенев (по неизданным рукописям Пушк. дома; Петербург, изд. Academia. 1923).

хоть несколько иначе, Достоевский [1]); либо он разочаровывался в самой сути личного характера того, с кем его (иногда даже долго) соединяли приятельские связи, как было с Фетом [2]); либо происходило столкновение непримиримых стихий в самой глубине натуры и темпераментов общающихся, как обнаружилось в отношениях с Львом Толстым; либо совершался острый разлад в дорогих убеждениях, общественных или этических, как с Михаилом Бакуниным [3]) и Герценом. Но в таких кризисах дружбы

[1]) В письме к М. А. Милютиной 3 дек. 1872 г. (Перв. Собр. писем, стр. 208) Тургенев признается, что чувствовал ненависть к себе у Достоевского с молодых лет. Теперь вопрос о перипетиях отношений Тургенева и Достоевского является предметом интересной монографии талантливого (рано умершего) автора Ю. Н. Никольского, «История одной вражды» (София, 1921 г.). К сожалению, она почти не доступна здесь. Письма Достоевского к Тургеневу из его архива, ставшего собственностью П. Виардо и ее наследников, напечатаны в Париже Mazon'ом в «Revue des études slaves» (1921 г.).

[2]) Весь тон, какой характеризует в книге Фета «Мои воспоминания» (2 тома Москва, 1890) не только отношение его к Тургеневу, но и все суждения его о людях и жизни, ясно показывает, что истинной дружбы между этими двумя лицами быть не могло: Тургенев восхищался исключительным поэтическим талантом Фета, а когда, по его чувству, талант этот стал иссякать, неминуемо исчезла и существовавшая некоторая близость.

[3]) Бакунин в молодости отличался от Бакунина в зрелости и старости, или в нем обнаружились особенности, фатально отдалявшие его от Тургенева, и элементы содружества, сначала очень сильные, должны были вытравиться огнем. Да и позднейшие политические воззрения Бакунина и его революционная тактика поставили между ними в позиций период неодолимую преграду.

Тургенев пережил много тяжелых страданий; друзья его часто мучили. Он чутко разделял взгляд Шиллера — «O du! die alle Wunden heilest, der Freundschaft zarte, liebe Hand: он очень нуждался в дружбе, но испытал от тех, в ком искал ее воплощения, далеко не то, чего ждал [1]). Отсюда сложилось то горькое стихотворение в прозе — «Враг и друг», которое, наверно, вылилось из его души в одну из таких скорбных минут «дружеских обманов». Тем не менее он преодолевал наносимые удары и оставался верен до конца тем, кто причинял больные уколы и обиды, но с кем неразрывно срослось его сердце. Это можно сказать и о Герцене, которого он не переставал любить, и о Льве Толстом, который был к нему не раз безжалостен, но которого он неизменно чтил, что лучезарно доказано его благородным предсмертным письмом, последними строками, начертанными ослабевшею рукою [2]).

Вообще именно верность, а отнюдь не изменчивость, легкость разрывов была отличительною

[1]) Об этом очень хорошо сказано у А. Ф. Кони. «На жизненном пути», II, 317.

[2]) Неизвестно, успел ли ответить Лев Николаевич на это чудное обращение — «друг мой, великий писатель русской земли»! — Но, во всяком случае, его сердце сумело оценить и полюбить Тургенева после смерти, как видно из превосходного его письма к А. Н. Пыпину, только что опубликованного в сборнике — «Тургенев и его время», под ред. Н. Л. Бродского (Гос. Изд. 1923), стр. 5. Обращаю на него особое внимание: это акт, хотя бы и запоздавшей, справедливости. Там же есть важный отрывок о Тургеневе из письма Л. Н. к жене (30 сент. 1923).

чертою духовной природы И. С. Тургенева. Это подтверждают и другие: «Характер Т. был редкой чистоты... Он всегда выказывал большое политическое мужество, никогда не изменял друзьям, не отказывался от своего мнения» [1]). — То же свойство с поразительною и для него долго трагическою силою выразилось и в любви. Его о д н о л ю б с т в о [2]), не смотря на многократные его увлечения женщинами, как эманациями «des ewig Weiblichen», победоносно сияет в его вечной привязанности к Полине Виардо; и это удивительное чувство с течением лет из страстной любви переродилось в самоотверженную дружбу, беспримерно проникавшую до смерти всю его жизнь[3]).

[1]) В «Русской Старине», т. XLII, стр. 396, так выражается один его берлинский товарищ, скрывший свое имя под инициалами.

[2]) Это свойство приписано было ему (и самое слово изобретено) матерью с протестом ненависти против «проклятой цыганки», полонившей сердце сына; теперь оно подвергается сомнению (по напрасно) некоторыми новейшими биографами.

[3]) Это — центральное чувство в жизни Тургенева оценивалось и оценивается очень разно; но полагаю, что оно до сих пор недостаточно изучено, и это — существенный пробел в биографии И. С. Внимательное и полное изучение писем, нужно надеяться, прольет должный свет на вопрос. Полагаю, что, вопреки тяжелым перипетиям, какие сопровождали историю любви Тургенева к Полине Виардо, она в конце концов дала ему то счастье, какое доступно было бессемейному одинокому человеку, так нуждавшегося в собственном «гнезде». Превосходное литературное изображение подобного же превращения неразделенной, пылкой страсти к женщине в бескорыстную любовь, светящуюся трогательным умилением, находим в замечательном романе R o m a i n R o l l a n d, Jean Christophe-в истории его отношений к его «милой, милой, милой Грации».

Реализация в его жизни чистой дружбы также доказуется целым рядом его отношений: легко вспомнить его крепкий союз с Белинским, с Анненковым, отчасти и за границею с Питчем, с Флобером. — К таким, до конца оставшимся в тесном единении с ним, друзьям принадлежал Я. П. Полонский. Это засвидетельствовано самим Ив. Серг. в письме из Буживаля (22 сент. 1882 г.): «В твоей искренней дружбе я не сомневаюсь, как и ты не должен сомневаться в моей. Ведь мы чуть не пол-жизни с тобою прожили вместе. Сама жизнь стала тусклой и тяжелой, но чувство наше не изменилось и не изменится».

При правдивости Тургенева [1]) и присущей ему потребности выражать свою душу, письма его к друзьям (в тесном смысле) должны давать много. Среди задач познания этого нашего великого писателя такая тема — дружба в жизни, в душе и в произведениях Тургенева — очень важна для восстановления его личности, его биографии, а также для изучения его творчества. — С именем А. Ф. Кони тесно сплелся образ И. С. Тургенева: он лично его знал, любил и любит его, много сделал для его познания и справедливого истолкования. В честь его вполне подобает говорить о Тургеневе. Хочу сгруппировать, как сумею, несколько черт, лепестков (feuilles détachées) из его переписки с Полонским. Могу пока дать только набросок, отрывок:

[1]) Бессмысленно и голословно заподозревать, даже обвинять его в лицемерии, как по стопам Достоевского решаются делать также некоторые «критики».

редакция сборника торопит и может уделить небольшое место. Но пусть будет поставлен вопрос, предварительно намечен матерьял: в дальнейшем его можно глубже разработать. Здесь же автор благодарен А. Ф. Кони за то, что праздник его 80-летия вновь приблизил его к Тургеневу, и надеется, что его скромный эскиз не нарушит диссонансом дружного хора чествующих его представителей русской интеллигенции [1]).

2.

Я. П. Полонский был почти одноленкой с Тургеневым (только на два года моложе его). В 1839 г. он поступил в Московский Университет; он сильно интересовался родною словесностью и рано начал писать стихи. В 1841 или 42 г. он впервые встретился с Тургеневым в доме М. Ф. Орлова, друга декабристов. У него собирался литературный салон,

---

[1]) Пользуюсь матерьялом, напечатанным в «Первом Собрании Писем И. С. Тургенева» (изд. Литер. Фонда. СПБ., 1885). Он давно известен, но не достаточно использован. Кроме того, если соберешь вместе разрозненные отрывки, может получиться нечто, несовсем хорошо наблюденное, может также подчеркнуться нечто, стушевывавшееся. Не могу считать себя по истине ни «тургеневистом», ни историком литературы, но творчество Тургенева сопровождает меня всю жизнь, и это, может быть, подсказывает иногда некоторую упущенную правду. Говорят: «sine ira et studio» и часто переводят: «без ненависти и без любви». Скажу точнее: «без гнева и без пристрастия». Любовь же содействует пониманию истины. Она, рассчитываю, поможет и мне очертить нечто, не совсем излишнее о Тургеневе.

где бывали Хомяков, Грановский, Чаадаев. Туда часто приходил и Тургенев, по приезде из Берлина, когда он, живя в Москве, готовился к экзамену на степень магистра философии: «Иван Сергеевич, пишет Я. П. Полонский [1]), прочитав в записной книжке какое то мое стихотворение, назвал его поэтическим перлом. Кого не подкупят такие отзывы, особливо в молодые годы». Между юношами возникла симпатия. Они стали часто видеться. Между Тургеневым и Полонским было много точек соприкосновения, прежде всего, любовь к поэзии. Оба тогда особенно увлекались Лермонтовым: «Тургенев, прочитав «Героя Нашего Времени», называл эту книгу новым откровением». Кроме того их сближал скромный, воздержанный образ жизни; они оба склонны были к философствованию, к сомнению и грусти, оба чаяли в дружбе найти опору. Завязался узел духовного союза, который впоследствии, при дальнейших встречах в Москве и позднейшем общении в Петербурге вырос и окреп в действительную дружбу.

Первое сохранившееся письмо (17 июня 1855 г.) обнаруживает уже добрые, тесно приятельские отношения. Тургенев тут интересуется изданием сочинений Полонского, жалеет, что тот не мог отозваться на его приглашение провести лето в Спасском. Там гостили Григорович, Дружинин и В. П. Боткин. Они разыграли вместе для забавы «глупейший фарс собственного изобретения». Назывался он «Школою

[1]) См. в воспоминаниях Я. П. Полонского о его студенчестве в Литературных Приложениях к «Ниве», 1898, XII.

гостеприимства», и Тургенев добродушно вставил в свою роль злостно приписанную ему фразу — «Спасите меня, я единственный сын у матери»! — из грязной сплетни, пущенной недоброжелателями, желавшими представить его жалким трусом, не погнушавшимся лжи, чтобы вызвать сочувствие во время пожара на корабле при первом путешествии за границу (в 1838 г.), от которого он чуть не погиб.

Вся переписка с Полонским носит своеобразный, интимно-дружеский тон. Пишется все по просту, без задней мысли, с полною уверенностью, что слова будут поняты по хорошему и по правде. Такая возможность искреннего и откровенного высказывания, очевидно, ощущалась Тургеневым, как большое благо: цепь писем его к Полонскому все густеет с движением лет; дружеские отношения распространяются на вторую жену Якова Петровича — Жозефину Антоновну, урожд. Рюльман, талантливую скульторшу, и он был крепко привязан ко всей его семье. Недавно встреченный мною отзыв, будто в письмах Тургенева к Полонскому и Фету, неприятно ощущается пренебрежительно-покровительственное отношение, может быть признан отчасти верным лишь применительно к последнему [1]). С Полонским Тургенев только

[1]) «Воспоминания» Фета показывают, как мало было общего между ними, и как отношения Тургенева к Фету были гораздо благожелательнее и благороднее (что видно и из писем Тургенева к Фету, и из его отзывов о нем в других письмах). О том, что Фет выдохся, как поэт, в шестидесятых годах, Т. несколько раз упоминает в письмах к Полонскому. См. напр., 20 июня 1870; 16 сент. 1879; 26 янв. 1861; 13 янв. 1868 и т. д.

держится открыто, без оглядки, зная, что не зачем рядиться перед ним в какой-нибудь мундир, что будет почувствовано всякое настроение, и, наоборот, не будет поставлено всякое лыко в строку. Напротив, через все послания, располагающиеся между 1855 и 1883 годами (почти 30 лет!), неизменно проходит добрая, доверчивая, даже нежная струя. Этим одним уже интересна данная переписка, знаменующая в Тургеневе потребность и способность именно к верной и мягкой дружбе. И она по отношению к Полонскому принимает гораздо более экспансивно-трогательный характер, чем какой выражается даже в общении с другим верным другом Тургенева, П. В. Анненковым (Annenkovius venerabilis, carissimo Annencovio: тоже «четвертьвековая дружба»!) [14]).

Потрясенный несчастьем друга, смертью его первой жены, Ив. Серг. хочет всем сердцем разделить его скорбь (4 ноября 1860): «Ты не поверишь, как часто и с каким сердечным участием я вспоминал о тебе, как глубоко сочувствовал жестокому горю, тебя поразившему. Оно так велико, что и коснуться до него нельзя никаким утешением, никаким словом: весь вопрос в том, что надобно однако жить, пока дышешь, и особенно надо жить тому, которого так любят, как любят тебя все те, которые тебя знают. А потому постарайся поддержать себя в течении

[14]) Внешним признаком различия служит тот факт, что с Полонским Тургенев рано перешел на «ты»; Анненкову же говорил «вы» до конца.

зимы, а весной поезжай за границу, или поедем вместе со мной в деревню, где и Фет будет: поживем втроем напослодок—посмотрим стариками еще раз на весну [15]). Помнится, я-было приглашал тебя не одного ко мне в деревню... но это все разлетелось прахом, и только осталось воспоминание о светлом милом существе, которому так мало было суждено прожить между нами... А в самом деле, подумай ка о той поездке, которую я тебе предлагаю: право, будет хорошо» [16]).

Такою активною добротою веет вообще от дружбы Тургенева к Полонскому. Он хочет быть с ним вместе, он постоянно приглашает его к себе в Спасское (21 мая 61 г.; 24 янв. 62); зовет его на побывку в свой дом в Баден (1 мая 66 г. и 21 окт. 67), и все это делается «с особенным дружелюбным чувством». Заботится он и о сестре Я. П., ее приглашает в трудную минуту жизни пожить временно в Спасском (16 апр. 69 г. и 3 июня 1870). Материальную помощь он неоднократно с деликатною настойчивостью оказывал Полонскому (8 апр. 1873 г., 25 сент. 1874, 23 янв. 75,

[15]) Тургеневу шел тогда 42-й год, Полонскому 40-й, но И. С., как известно, стал болезненно чувствовать подступ старости очень издалека, а тут, когда друга испытала смерть—чувство это переносится им и на последнего.

[16]) Письмо к П. В. Анненкову 8 июля, 1860: «Миленькая, хорошенькая жена Полонского умерла! Я не могу выразить, как мне жаль и ее, и его, да и вы, вероятно, разделите мою печаль. Кажется, отчего бы ей было не жить...».

17 апр. 78) и внимательно всегда обдумывал его дела и интересы. О замечательно деятельном сочувствии и постоянно глубоком участии И. С. в поэтическом и художественном творчестве Полонского необходимо говорить особо и детально: это составляло для него как бы предмет собственной интенсивной работы.

В конце концов Тургеневу удалось добиться исполнения своего желания: лето 1881 г. семья Полонского провела в Спасском вместе с Нв. Серг. [17]: в следующее лето 1882 года они пробыли там без него [18]: захватывавшая его последняя болезнь не дала ему возможности с ними соединиться, и из Буживали (30 мая 1882 г.) он шлет в письме к ним скорбное

[17]) Тургенев заранее распорядился о переделке и обновлении дома, чтобы их принять. В то же лето его посетили Д. В. Григорович, Лев Толстой и М. Г. Савина. Полонский составил интересные воспоминания — «И. С. Тургенев у себя в последний приезд на родину» (в журн. «Нива», 1884, № 1—8), в которых симпатично и жизненно встает перед нами фигура «будничного» Тургенева. Я. П. пишет, что жил у Тургенева, с Тургеневым «не как гость, а как брат». Он сильно горюет по нем: «Кто в Т. потерял не только знаменитого родного писателя, но и друга, — тот никогда не забудет, как много потерял он, как стал беднее и беспомощнее».— Тургенев в то лето создавал «Песнь торжествующей любви».

[18]) Когда Тургенев приглашал их опять в Спасское (письмо 8 апр. 82), он еще надеялся сам туда приехать и говорил им: «Мне приятно будет думать, что вы ожидаете меня там — и мне кажется, одна эта мысль будет способствовать моему выздоровлению».

прости дорогому месту: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу — родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу». — Он с грустным умилением просит прислать ему из Спасского сиреневую ветку (2 июня 1882 г.) [19]). Привязанность Тургенева к семье Полонских ярко сказывается в милом и прелестном письме его к их маленькому сыну Але, написанном 15 июня 82 г. (когда он уже был очень болен), по поводу присылки ему мальчиком детского рукописного журнала «Спасский Вестник» [20]).

Одно лето И. С. помечтал вместе с Я. П. съехаться в Италии, полечиться в Монсумано: это было бы третье путешествие его в чудную страну (bella Italia).

---

[19]) Я. А. Полонская это исполнила, и И. С. горячо благодарил ее (17 июня 1882). Он предоставил ей хозяйничать в Спасском, как дома, но вместе с тем просил позаботиться об училище, богадельне, часовне (2 июня), принять в дом братьев Гаршиных. В многочисленных письмах к П-ским в это лето сквозит сильная любовь к Спасскому, к своему прошлому и к ним, добрым друзьям.

[20]) Это связано не только с привязанностью к семье П-ских, но и с любовью Тургенева к детям вообще: факт отмечался в биографической литературе, и это видно по произведениям И. С. Между прочим, он просит Алю, чтобы они «бережно обходились с Савинской комнатой», где она обитала в предшествующее лето; о посещении ее И. С. с особенною любовью и благодарностью вспоминал (см. в кн. «Тургенев и Савина», Петрогр. 1918, стр. 38 слл.). Летом же 1882 г. Тургенев только что с нею виделся последний раз в Париже (письмо к П-скому, 16 июня 82).

которую он так прекрасно описывал [21]); но план, инициатива которого принадлежала Полонскому, осуществить не удалось. Во время же приездов Тургенева в Петербург, они виделись чуть не ежедневно, и эти свидания, конечно, особенно скрепляли духовные узы между ними. — Мысль его всегда следит за жизнью друга и его близких, и душа готова откликнуться на его печали и радости: «Не в моих привычках, пишет он, 14 окт. 74 г., расточаться в уверениях; но ты знаешь, что во всяком случае на меня можешь рассчитывать». — По отношению к Полонскому выработавшаяся в Ив. Серг. благовоспитанная сдержанность часто нарушается внутреннею потребностью выразить ему свое чувство: изъявления его, иногда сильные и тонкие, украшают многие из писем к Полонским [22]). Уговаривал раз Полонского не печатать написанного тем стихотворного послания к нему, чтобы не стали и того бранить вместе с ним, И. С. утверждает, что имя друга для него дороже его собственного (14 апр. 1877 г.). Другой раз, заявляя ему, что перестает писать после неуспеха «Нови», Т. прибавляет: «В этом ты так же мало можешь сомневаться, как — ну хоть как в моей дружбе к тебе» (18 февр. 1877). В третий раз он сравнивает дружбу к Я. П. с любовью к своей Музе

---

[21]) См. этюд пишущего эти строки «Образы Италии в творчестве Тургенева» во второй книжке журн. «Начала» (1922 г.). Он вышел теперь отдельно в дополненном виде (изд. Брокгауз-Ефрон, 1925).

[22]) Нет необходимости их перечислять, но отметить такую индивидуальную особенность следует.

(9 марта 1875). Он сам твердо верит «в неизменность дружбы» П-ского (5 ноября 77). Подобные слова и выражения согревают почти все письма к П-скому, придавая им особую мягкость [23]).

В это лето 1882 г., когда пребывание П — ских в Спасском, хоть и без него, как бы лишнею нравственною нитью соединило Тургенева с ними, число писем к ним (здесь на равных правах выступают то муж, то жена) увеличивается, и усиливается их содержательность, одухотворенность и эмоциональность. Именно они — все вообще письма к П — ским 1882 и начала 1883-го годов — лучший показатель богатой внутренней жизни Тургенева в эту пору трагически тяжелого расставания с землею, с тою землею, которую он, по собственному признанию, любил больше неба. В это время П — ские — главные, к кому рвется слово Ив. Серг. [24]). — В долгие месяцы ужасающих физических страданий и огромной внутренней борьбы, мы видим в нем очень мало проявлений эгоизма трудно больного, перед глазами которого стоит образ смерти: он не носится с своей болезнью,

---

[23]) Постоянно попадаются слова — «верный друг» (5 июля, 82). «неизменные чувства» («Перв. собр. писем», №№ 444, 449, 467). Полонский и Аннепков — единственные люди, к которым он иногда обращается со словами: «дорогой мой». — В то время это симпатичное прилагательное редко употреблялось в качестве эпистолярного воззвания: говорили — «любезный», самое большее — «милый».

[24]) Из 152 писем к разным лицам за 1882 г. и 83 г. в «Первом Собрании» 75 направлены к Полонским.

не плачется над нею, даже иногда в силах над нею шутить (17 окт. 82), хотя чувствует, что приходит конец (29 июня 82, Ж. А. П—ской): «Личная моя жизнь прекратилась; пожалуйста не считайте это преувеличением, ни мнительностью, ни хандрой; это голый факт, и чем меньше об этом говорить, тем лучше» [25]). Но отчаяния не чувствуется, есть покорность — résignation (31 окт. 82), а порою, и не раз, вспыхивает надежда и ободряет дух [26]).

Не буду прослеживать грозного процесса умирания Ив. Сергеевича: это уже хорошо сделано [27]). Но мне дорого вскрыть, как полно было жизни это редко тяжкое умирание. Он печется обо всем крупном

---

[25]) Ж. А. П—ской, 29 июня 82 г. — Он так и условливается: ничего о болезни не говорить (с нею — 23 авг.; с ним — 30 авг. 82 г.). А в письмах к Савиной называет себя «похерепным человеком» (7 июня и 3 авг. 82 г.); ср. также к Ж. А. П—ской 27 мая 82 г.

[26]) 28 апр. 82 г. И. С. отказывается ехать в Россию вследствие отсутствия сил. Но потом он много раз опять надеется. См. письма — 362, 363, 364, 366, 368, 369, 404, 406 в «Первом Собр.».

[27]) Имею в виду очень хорошую статью Л. С. Утевского, «Смерть Тургенева», в Петербургском «Тургеневском Сборнике» под ред. А. Ф. Кони (1921 г.). Переиздана отдельно («Атеней», 1924 г.) с немногими дополнениями. Автор в ней проводит прекрасную мысль о переломе, который совершился в отношении Тургенева к смерти, так сказать, пред лицом ее: следует дальше и глубже еще продумать и почуять признаки совершавшегося тогда в нем замечательного духовного акта. Но это — особый, очень важный вопрос в истории миросозерцания Тургенева.

и мелком для благополучия проживающих у него в Спасском друзей и гостей, Полонских и Гаршиных [28]). Он ярко реагирует на события, совершающиеся в России и на Западе; в нем «шевелится литературная жилка» (17 сент. 82 г.), возникают последние замыслы; это время группировки «Стихотворений в прозе», создания «Клары Милич» [29]). Он задумывает в подарок детям Полонских особую сказку под названием — «Пустой Боченок» [30]). Он все еще стремится в Россию всею душою и сильно огорчается, когда друзья не верят, что это свыше его физических сил [31]). Он живо интересуется новыми явлениями литературы: приветствует молодой талант Всеволода Гарши-

---

[28]) Евг. М. Гаршин напечатал свои воспоминания о лете 1881 года, когда он также был у Тургенева. См. Истор. Вестник, 1883, кн. XI. Там дается и описание Спасского. Ср. собственное изображение у Ив. Серг. ранней весны в Спасском в письме к Полине Виардо, 31 марта 1859 г.

[29]) Он напоминает К. А. П—ской (17 окт. 82 г.), что мысль об этой вещи дана была именно ею в рассказе о смерти артистки Кадминой. Ср. Переп. с М. Г. Савиной, стр. 54, 56.

[30]) Об этом есть несколько упоминаний в письмах к П—ским (см. в «Перв. Собр.» письма 404, 414, 418, 449). В последнем (14 ноября 82 г.) читаем: «Пустому Боченку придется еще откатиться на несколько недель после нового года. Будем надеяться, что он вместе со мною прикатится в Россию весною, или летом, или к 1884, новому году».—Но болезнь не дала доделать «Пустой Боченок», а к новому 1884-му году Россия была уже лишена Тургенева.

[31]) Письмо 24 дек. 82 г. Ср. 11 янв. 83 г.

на [32]). Он просит Полонского прислать ему новые его стихотворения [33]), радуется полученной им литературной премии (25 окт. 82). Он приветствует присланные Полонским в Париж его картины, показывает их и пропагандирует, с любовью устраивает их в своем буживальском шалэ [34]). Тургенев интересуется написанною Полонским драмою [35]); он пишет ему целый маленький трактат по теории живописи и «смотрения картин»[36]).

Не исчерпываю всего разнообразия в содержании писем к Полонским за последний скорбный год жизни Тургенева: мне сейчас хочется только показать, что именно в общении с ними так богато раскрывается и в тяжкую годину его еще полная высших интересов и деятельной дружбы душа. Настоящий отрывок посвящен, так сказать, «дружеской грани» в духовной природе Ив. Серг. Соответственно этому и подбирается материал.

---

[32]) К Ж. А. П — с к о й 11 сент. 82. Ср. письмо к М. Г. Савиной, 18/6 сент. 82. Довольно многие письма к различным писателям за это время показывают, как не потухал, а неугасимо горел до конца в нем интерес к литературе.

[33]) «Напрасно не прислал мне ты своих стихов: читать я все-таки могу, а уж твои вещи подавно» (2 февр. 1883).. — О французском издании «Кузнечика-Музыканта» он продолжает заботиться и в эти месяцы осложнения болезни.

[34]) Об этом целый ряд писем («Перв. Собр.» №№ 423, 430, 437, 467).

[35]) Письмо 21 марта 1882 г.

[36]) Это — очень интересные письма для суждения о взглядах Тургенева на искусство: 30 авг., 1 и 10 сент. 1882 г.

Не будет удивительно при таком характере отношений, что на многолетней переписке Тургенева с Полонским должны отражаться многократные колебания в его внутреннем мире и внешних судьбах его под влиянием общих и личных переживаний, в связи с житейскими кризисами и драмою его творчества: надобно тургеневистам отдать себе в этом отчет (здесь пока нет места об этом говорить). Интересно отметить только одно: рядом с обычным для Тургенева пессимизмом (особенно по отношению к самому себе),—в письмах к Полонскому не раз обнаруживаются в нем и противоположные струи положительного характера [37]). Особенно сильно раздаются они в те минуты, когда в настроении духа Полонского появляется упадок. Полонский вообще верит в «прогресс» и в абсолютный смысл жизни [38]). Перед сознанием Тургенева в этой области мировой тайны оставался неразрешенный вопрос. Между тем именно Тургенев поддерживал Полонского в налетавших на

---

[37]) Конечно, в них отражаются и муки критических моментов, неудач, тягостных переломов, обманов и разочарований, удары клеветы или непонимания, пустота неверия, тоска по родине и от одиночества, отсутствие своего гнезда, угрозы надвигавшейся старости, неразрешимая проблема смерти... Но все это звучит мягче и примиреннее, когда льется в открытое и навстречу звучащее сердце друга. Сквозь такую призму важно наблюдать историю души Тургенева.

[38]) См. в замечательной статье Владимира Соловьева—«Поэзия Полонского», в VI т. его «Сочинений» (1 изд.), стр. 626.

того припадках тоски, и в письмах его находим тому выразительные примеры [39]).

Быть может, воля его вступала тут в борьбу с мраком его собственного скептицизма, и он мог вносить в тяжелые настроения друга бальзам истинного, реального ободрения, а не произносить одни утешающие слова формального поучения или снисходительной насмешки. Эта дорогая способность выражается именно в переписке с Полонским: она открывает или подтверждает в темпераменте П. С. присутствие желанных черт — твердости, мужества, силы жизни, охоты и уменья разделять горести и укреплять энергию любящих и любимых, хотя это часто и настойчиво отрицается хулителями или холодными критиками, признающими в нем лишь противоположные недостатки [40]).

Должно быть, и Полонский, в свою очередь, часто протягивал Тургеневу такую же руку помощи. Наличность в миросозерцании Полонского недостаточно выраженных в нем самом оптимистических перспектив, могла служить одним из сильных мотивов, которые влекли Тургенева к П — скому. Так влияют в дружбе находимые взаимно каждым в другом до-

[39]) Ссылаюсь из них на №№ 77, 131, 178, 193, 205, 429 в «Первом Собрании Писем». — Они располагаются по долгой серии лет.

[40]) Такие приливы бодрости переживались Тургеневым, как видно из стихотворения в прозе — «Мы еще повоюем», — и они влияли также на его друзей.

полнительные душевные стихии или токи: оттого, между прочим, так охотно «вкушал» Тургенев от поэзии П—ского. Это—важное наблюдение, на которое наталкивает изучаемая переписка. Повторяю: для обнаружения большой внутренней силы духа в Тургеневе, которого все привыкли считать и называть свысока — слабым, безвольным человеком, дружеские письма последнего года поднимают уголок завесы, заслоняющей сокровенное его души, — и подрывают доверие к справедливости шаблонной оценки его личности.

В этих письмах только один раз с силою прорывается старый мрачный взгляд на жизнь и людские отношения, значительно смягченный к минуте расставания с жизнью громадным опытом страдания. Письмо от 6 сент. 1882 г. заканчивается словами: «На прощанье позволь тебе сообщить несколько афоризмов, которые созрели во мне в течение уже довольно долгой жизни: а) Никогда ничего неожиданного не случается, ибо даже глупости имеют свою логику. в) Предчувствия никогда не сбываются. с) Сообщенные за вернейшие известия всегда ложны. д) Следует: размышлять о прошедшем; удовлетворять требованиям настоящего; и никогда не думать о будущем. И наконец самый важный афоризм: Человек, желающий жить спокойно, никогда ничего не предпринимай, ничего не предполагай ничему не доверяйся и ничего не опасайся!!» — Это раскаты невполне побежденных прошлых бурь. Но и тут не чувствуется злобы, а только покорность. Вообще

же в поздних дружеских письмах Тургенева из-под видимой поверхностному зрению оболочки пессимизма непредубежденному оку теплится, блестит в глубине огонек более отрадной веры или, по крайней мере, надежды.

;

Долго страдал Тургенев от болезни, которая свела его в могилу. Он, наверно, ждал конца задолго еще до знаменитого последнего письма к Льву Толстому (27 или 28 июля 1883), в котором говорит про себя что он, на смертном одре [41]). В словах, обращенных к П—ским 12 мая 1883 г. (это последнее сохранившееся письмо к ним), он прямо призывает смерть: «Давно я не писал вам, любезные друзья мои — да и о чем было писать? Болезнь не только не ослабевает, она усиливается — страдания постоянные, невыносимые — несмотря на великолепную погоду — надежды никакой, жажда смерти все растет — и мне остается просить вас, чтобы и вы с своей стороны пожелали осуществления желания вашего несчастного друга. Обнимаю вас всех».

И все же смерть пришла неожиданно. Расставаясь с М. М. Стасюлевичем 1 августа, Тургенев выражал надежду прожить еще месяца три [42]). Но в поне-

---

41) Сам Лев Николаевич, когда узнал о серьезном ухудшении болезни Ив. Серг., написал ему чудесное, дружеское письмо, которое должно было сильно растрогать Тургенева. Оно напечатано в «Тургеневском Сборнике» под ред. А. Ф. Кони, стр. 55.

42) См. в воспоминаниях М. М. Стасюлевича, в I т. «Сочинений» И. С. Тургенева, изд. Маркса, стр. XLIII.

дельник, 22 числа того же месяца 1883 г., в 2 часа пополудни Ив. Серг. не стало. Все свидетели передают строго-красивую картину кончины великого писателя, полной величавого спокойствия, свободной от всякого страха. За два дня он сам сознательно простился с окружающими. Вся мыслящая Россия была потрясена мрачною вестью. Полонские же переживали утрату друга с ужасом непоправимого горя. Я. П. П—ский писал Савиной еще 20 апреля, не получая сведений о состоянии Ив. Серг., в следующих отчаянных словах: «Если вы подозреваете, как я и жена моя любили нашего Тургенева, вы, конечно, поймете, что для нас лучше знать, чем незнать, так как полнейшее неведение о том, в каком положении больной, наводит на нас тоску смертельную» [11]). И ниже: «Говорю вам, что я охотно бы умер вместо него — и вовсе не желаю переживать его» [12]). Невольно вспоминается великое изречение, что нет больше любви, как та, которая душу свою полагает за друзей своих.

Что происходило в глубине духа Тургенева «перед лицом неведомого», — неведомо и нам. Как предстала ему смерть, как чудовище (страшная «Старуха» или отвратительное «Насекомое» из его стихотворений

---

[11]) Писать Тургеневу тогда было уже трудно, и Полонские долго не получали ответа на свои взволнованные вопросы.

[12]) «Тургенев и Савина», под ред. А. Ф. Кони, стр. 44. — Тоже повторил Полонский в письме к художнику Боголюбову. См. петербургский «Тургеневский Сборник», стр. 40.

в прозе), — или как избавительница в образе высокой, стройной женщины с большими глазами, как у сокола, светлыми, пресветлыми (так явилась она во сне страстотерпице Лукерье в «Живых Мощах») [43]).— Не знаем. Но думаю, что последнее лучше гармонирует с картиною умирания Тургенева и его душенастроением в последние годы. Любовью должен был он преодолеть ужас перед необходимым концом. Он убежден был, что она — центральный двигатель, если не космоса, то человеческого существования: «Любовь сильнее смерти; только ею, только любовью держится и движется жизнь» [44]). Один из современных критиков в прекрасной статье о Тургеневе и Тютчеве обмолвился словами: «Тургенев жил и умер в аду». Это—не так. Любовь привязывала его к жизни, она должна была примирить его и со смертью. А. Ф. Кони, в одном из этюдов своих о Тургеневе [45]), замечает: «Джакомо Леопарди, так во многом сходный с Тургеневым, — и в условиях своего детства и молодости, и в своем взгляде на тщету и суетность жизни и на мимолетность призрачного счастья,— считает, что на

---

[23]) Также, как «высокую, тихую, белую женщину» рисует сам Тургенев нашу неизбежную однократную частью в «Последнем Свидании».

[24]) П. В. Анненкову П. С. пишет 15 февр. 61 года: «В каждом человеке сидит зверь, укрощаемый одною только любовью». Он несколько раз кончает письма ему цицероновскими словами: «Vale et me ama».

[25]) В предисловии к изданию переписки Тургенева с Савиной, стр. XVII.

свете есть лишь две прекрасные вещи — любовь и смерть (la gentilezza di morir)».

Умирая, И. С. вспоминал родину и друзей. Образы любимых могли открыть его взору иные миры. Он писал гр. Ламберт еще 10/22 дек. 1865 года: «Неужели тут и конец? Неужели смерть есть ничто иное, как последнее отправление жизни? Я решительно не знаю, что думать, и только повторяю: счастливы те, которые верят». — А «Отцы и Дети» заключаются словами, что цветы, растущие на могиле Базарова, — «не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии равнодушной природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной», — Тургенев умер с вопросом, но не с безнадежностью. Не даром же свою «Лебединую песню», рассказ «Клара Милич», он первоначально хотел назвать — «После смерти».

Последнею силою, сопровождавшею его на одре смерти, была любовь [46]) А. Ф. Кони опять верно сказал, что Тургенев мог, кончая жизнь, повторить слова умирающего Гладстона: «Доброта, доброта — вот главное». Сам Тургенев это думал: «Будь только человек добр, его никто отрицать не может» (Дворянск. Гнездо). — Ромен Роллан утверждает даже, что «гений — это доброта». — Дружба с Полонским питала в Тургеневе доброту. Ив. Серг. говорил сам, что «луч-

---

[46]) Передают, что предсмертные слова его были: «прощайте, мои милые»...

ший врач для жизни — это друг» (к гр. Ламберт, 23 июля 1859 г.) и «помогать другим — лучшее средство утешиться в собственном несчастии» (ей же. 27 ноября 1861 г.) [17]).

Ив. Гревс.

---

[17]) Здесь приходится прервать изложение. Надеюсь его продолжить. Письма к Полонским дают много еще материала для познания личности и творчества Тургенева. Укажу следующие вопросы: а) Влияние на Тургенева поэзии Полонского. И. С. очень любил его стихи; то был один из важных органов их духовной связи. Может быть, при помощи определения стихий и форм поэзии друга удастся нечто выяснить в его собственной мысли и произведениях. В сборнике под ред. Л. Н. Б р о д с к о г о — «Творческий путь Тургенева» (Петр. «Сеятель» 1923) помещена замечательно интересная и оригинальная статья А. Л а в р е ц к о г о. Тургенев и Тютчев. Ею раскрываются новые перспективы. Полезен аналогичный опыт (конечно, с более скромными ожиданиями) и по теме — «Тургенев и Полонский». Сочувственно и глубоко оценивает литературное дело Полонского В л а д и м и р С о л о в ь е в в цитированной выше статье (см. е г о-ж е другой этюд — «О лирической поэзии», там же). Он уже наводит на известные сближения. — б) Рассмотрение многочисленных отзывов о других писателях или литературных явлениях России и Запада. — в) Факты для внешней и внутренней истории важнейших произведений И. С. — г) Выяснение отношения Т. к пережитым явлениям и событиям истории и жизни — к войне, нации, свободе, личности, просвещению (все это далеко не исчерпано). — д) Наконец эти письма заключают не мало упущенных сведений биографических и незамеченных этапов для восстановления хронологической канвы жизни Тургенева. Очень ценный опыт Н. М. Г у т ь я р а (в томе 87-м «Сборника отделения русского языка и словесности Российской Акад. Наук». СПБ. 1910) требует дополнения.

Из истории старого водевиля.

(А. Ф. Кони и П. А. Каратыгин в театральный сезон 1850—51 г.г.).

„Бедный водевиль! Сколько он терпит напраслин: его презирают, его чуть не топчут в грязь, его называют незаконным порождением искусства, забывая старинное правило одного из французских классиков, что «все роды хороши кроме скучного“... «Веселая, остроумная шутка совсем не так легка, как с перваго взгляда кажется; она была подчас камнем преткновения многим знаменитым писателям“... „Для остроумной шутки вовсе недостаточно одного ума, нужен особый склад дарования.„
Записки П. А. Каратыгина, Гл. XVI.

Помню, в кабинете моего покойного брата среди ряда портретов старых актеров, — среди ярко раскрашенного Гамлета-Каратыгина, завернутого в черный плащ его брата Петра, сидевшей в глубоком алом кресле пышной Дюшемен, Славина в роли Жоржа из комедии «Жизнь игрока», Асенковой в мундире гусарскаго рекрута и других, я видел литографию

Федора Алексеевича Кони. Со стараго, чуть пожелтевшаго листа он смотрел на меня точно таким, как описал его Григорович [1]): «небольшого роста, худощавый человек, в черном, как смоль, парике, с черными, быстрыми, умными глазами, смотревшими сквозь стекла золотых очков» . . . . Да, это был он, «высокообразованный человек, студент философского факультета Московскаго Университета, получивший потом звание лекаря, замечательный педагог и учитель истории в военно-учебных заведениях, наставник - наблюдатель в Дворянском полку, даровитый журналист, который вел положительно талантливо свой «Пантеон», наполняя его интересными статьями своими и других сотрудников» . . . [1]) Этот, добавим мы, доктор философии honoris causae Иенскаго Университета и притом автор многого-множества некогда гремевших водевилей.

Теперь, когда его знают прежде всего, как отца своего сына, хочется напомнить и о том далеком времени, когда последний, в свою очередь, был лишь сыном своего отца, а сам Федор Алексеевич занимал видное и влиятельное положение в тогдашнем литературном и театральном мире.

Сделать это тем легче, что перед нами как раз лежат два неопубликованных письма его от 4-го фев-

---

[1]) Д. В. Григорович, „Литературныя воспоминания". Гл. IV стр. 252—253.

[1]) В. Р. Зотов, „Петербург в сороковых годах—„Исторический Вестник", май 1900, стр. 315—319.

раля и 7-го марта 1851 года к своему собрату по перу и собрату своей жены по сцене [1]), Петру Андреевичу Каратыгину. Возьмем их как отправную точку и очертим несколькими штрихами театральную деятельность Каратыгина и особенно Кони в сезон 1850—51 гг. Но раньше приведем текст самих писем [2]).

I

Препровождаю к Вам, почтеннейший Петр Андреевич, сумму, условленную за водевиль «Свадебный стол» и билет на получение «Пантеона».

Водевиль Ваш прошел довольно счастливо сквозь иглиныя уши нашей Цензуры и претерпел только ничтожныя царапины. Комедия «Случай из Петербургскаго быта»—теперь читается цензором. Я просил не марать ее, а только сделать отметы карандашем. Через два дни узнаю результат. Не побываете-ли Вы, мимоходом, у меня, чтобы пообдумать перемены общими силами, а без них, кажется, у моего татарина дело не обойдется.

Всегда готовый к услугам
Федор Кони.

Через неделю доставлю Вам отдельные оттиски водевиля.

4 Февраля. 1851.

---

[1]) Ф. А. Кони был женат на Ирине Семеновне Юрьевой, по сцене Сандуновой (род. 5 мая 1811 г., скончалась 24 сент. 1891 г.).

[2]) Подлинники находятся в Дашковском собрании Пушкинскаго Дома при Российской Академии Наук.

Спешу доставить Вам, почтеннейший и добрейший Петр Андреевич, причитающиеся Вам деньги за напечатанную статью Вашу. Так как Вы предоставили уплату на мое усмотрение, то я счел лучшим, не полагаясь в этом случае на собственную оценку, следовать примеру других журналов, имеющих размер листов одинаковый с моими. За норму я принимаю Библиотеку для Чтения. За драматические произведения она платит за печатный лист в стихах 30, в прозе 20 р. с.

Так н. пр. П. П. Григорьев за последнюю свою комедию, размером и счетом листов совершенно равняющуюся Вашей (3 л. 1/2) получил 100 руб. Но за оттиски свои должен был сам заплатить типографии 30 руб.

При сем посылаю Вам на том же расчете 70 р. с.. а оттиски Вы получите даром, без всякой с Вашей стороны издержки.

Смею думать, что Вы этим расчетом не будете иметь причины остаться недовольным.

Завтра будут к Вам доставлены готовые оттиски водевиля, а к воскресенью остальные экземпляры комедии в 50 экземпл.

Свидетельствую Вам свое дружеское почтение. Всегда готовый к услугам Ф. Кони.

7-го Марта
1851.

* *
*

Для начала немного статистики. В тот сезон на сцене Петербургских Императорских театров прошло 402 водевильных спектакля, на которых было сыграно 92 водевиля, в том числе впервые в текущем сезоне было поставлено 28 новых оригинальных водевилей и 14 новых-же переводных, прошедших — первые 140 раз, а вторые 53 раза. Из числа старых водевилей было поставлено 20 оригинальных, прошедших 107 раз и 30 переводных, прошедших 102 раза. [1]) Как видим урожай на водевили был не малый.

Из пьес П. А. Каратыгина, упоминаемых в наших письмах, комедия «Случай из Петербургского быта» прошла 6 раз в сезон и водевиль «Свадебный стол» 10 раз. Кроме того, в тот-же сезон Каратыгин поставил свою переводную комедию «Женская дружба», которая прошла 4 раза. Из старых водевилей Каратыгина шли: — «Булочная» — 5 раз, «Натуральная школа»—4 раза и переводныя: «Две женщины против одного мужчины»—3 раза и «Дом на Петербургской стороне» 1 раз [2]).

Что касается Ф. А. Кони, то последний в этот сезон был представлен много скромнее, а именно: одним новым оригинальным водевилем: «Всякий шут Иван Иванович», прошедшим 8 раз и двумя своими старыми переводными водевилями «Девушка Гусар»

---

[1]) См. Вольф „Хроника Петербургских театров" ч. I, стр. 160—163.

[2]) Ibidem.

(шел 2 раза) и «Не влюбляйся без памяти, не женись без разсчета» (шел 1 раз) [1]).

Посмотрим теперь, как были приняты Каратыгинские новинки театральной критикой вообще и Ф. А. Кони в частности.

А. И. Вольф, являющийся довольно верным эхо старых театральных критиков и старой театральной публики, так резюмирует авторские успехи Каратыгина в сезон 1850—51 гг. «П. А. Каратыгин,—говорит он—поощренный примером своего товарища по школе, [2]) счел также за долг написать оригинальную комедию «Случай из Петербургской жизни» и позаимствовал для нея сюжет из французской новести. Эта попытка не совсем удалась, и талантливый водевилист потом обратился опять к своему настоящему жанру. Его «Свадебный стол» пришелся по вкусу любителям легких и остроумных шуток. Сосницкая создала преоригинальный тип экономки стараго холостяка, из-за которой расходится свадьба. Мартынов растрогивал всех в сцене прощания с своею старою дульцинеею, сам автор отличился в роли шафера.» [3])

Таковы отзвуки господствующих тогда в театральной среде мнений.

---

[1]) Ibidem.

[2]) П. И. Григорьева, о комедии которого «Житейская школа» упоминается в наших письмах.

[3]) А. Вольф. «Хроника Петербургских театров» т. I. стр. 145.

Ф. А. Кони в статье, посвященной [1]) состоявшемуся 9-го ноября 1850 года бенефису П. А. Каратыгина, в который впервые был представлен в С.-Петербурге «императорскими придворными актерами» водевиль «Свадебный стол без молодых, или Старая любовь не ржавеет», прежде всего указывает на то, что «Г. Каратыгин составил свой бенефис очень умно: он взял прекрасную французскую комедию, в трех актах, к ней прикинул два акта тех шуточек, которым так любит посмеяться наша публика, и повершил все хорошо составленным дивертисманом. И полно, и мило, и не обременительно для головы зрителя» [2]) Затем, весело и остроумно разобрав «Женскую дружбу», Кони говорит: «Но перейдем лучше от женского сердца к мужскому, которое также имеет иногда свои интересныя минуты. Одну из таких минут подметил г. Каратыгин и выдал ее пред лицем всей публики в свой бенефис. Был у него приятель Фома Ильич Мякиш, у Фомы Ильича была приятельница, или вернее сказать экономка Авдотья Андреевна Корка. Жили были старики и в лавочку были должны—лет этак с небольшим двадцать. Все шло, как нельзя лучше. Мякиш раскиснет совершенно в должности, придет домой, а Корка ему и кофейку, и супцу. Но вот раз Фоме Ильичу пришла дикая

---

[1]) „Пантеон", Ноябрь 1850 г. Т. VI, стр. 36—39.

[2]) В Бенефис Каратыгина 2 кроме „Свадебнаго стола" была поставлена его-же переводная комедия „Женская дружба или Молодыя вдовушки" и водевиль „Дагеротип или Знакомыя все лица", соч. I ч. .*.

идея—ни с того, ни с другого—разбогатеть, как эконом того заведения, где он на должности. Для этого он нашел всего удобнее удалить экономку и заменить ее молоденькой женою. Друг его Расторопин, большой охотник быть шафером, тут, как тут, с невестой. Не успел Мякин опомниться, как уж надо ехать под венец. Все-бы хорошо, да вот тут сердце-то мужское и сыграло с ним курьезную штуку, вдруг расходилось, растревожилось, расхныкалось, как де мол — столько лет я билось без всякой страсти, без всякого волнения, успокаиваемое кофеем Авдотьи Андреевны, и теперь вдруг меня заставляют возгореть любовью к невесте, которую выбрал Расторопин, и пылать верностию к жене, которая, может быть, еще и кофе сварить не умеет. На беду, тут-же является Авдотья Андреевна прощаться, со слезами, вздохами, кроткими упреками, и записочкою от невесты, адресованною однакож не на имя ее суженого. Мякин растаял: он утешает свою старую мамку самым чувствительным потоком сердечнаго красноречия и с благодарностию целует ея благотворительную и искусную в поваренном деле руку. Но в эту патетически-умилительную минуту — бац! является будущая теща, разразилась как бомба и пошла, что твои сто сорок восемь владимирских трещеток в каком-нибудь вишневом саду в Вязниках. Результат подобнаго явления очень не двусмыслен: брак расстраивается... А между тем собрались и гости, и посаженый отец, и посаженая мать... Скандал, да и только. И стол-то какой накрыт! С вазами, канделябрами, цветами, фруктами... но не про-

падать-же всей этой роскоши, не платить-же даром офицiантам: Мякиш просит гостей истребить все эти торжественные запасы, приняв этот ужин за свадебный стол, который, против обычая на этот раз будет без молодых, ибо соединение молодых стариков Фомы Ильича и Авдотьи Андреевны произойдет в другой раз, в следующем водевиле г. Каратыгина.

Господин Мартынов довольно забавен в роли Мякина, а господин Каратыгин оживляет пьесу, играя шафера—Расторопина. Марковецкий—в роли слуги Игнатия—чрезвычайно натурален».

Так писал старый журналист о старом водевилисте. Писал, как видим, доброжелательно и добродушно, не ленясь подробно пересказать фабулу новаго водевиля, который он потом и напечатал при первой книжке «Пантеона и репертуара русской сцены» за 1851 год.

Что касается комедии Каратыгина «Случай из Петербургскаго быта» [1]), то разбору ее Кони посвятил большую статью на стр. 6—11 Театральной летописи в двенадцатой, декабрьской книжке «Пантеона и репертуара» за 1850 год. Повидимому, этой комедии издатель «Пантеона» придавал особое значение, по крайней мере, статья его об ней существенно отличается от статьи об «Свадебном столе» и по размерам, и по содержанию. В то время, как первая из приведенных нами статей заключает лишь простой

---

[1]) Напечатана на стр. 1—60 „Пантеона и репертуара русской сцены". Том I. Февраль. Книжка вторая. 1851.

пересказ сюжета водевиля с краткой оценкой игры актеров, статья о «Случае из Петербургскаго быта» кроме этих двух частей снабжена еще вступлением, содержащим общия разсуждения и помимо этого заключает в себе подробный разбор характеров действующих лиц и оценку пьесы с точки зрения сценичности ее. Пересказывать здесь всю статью было-бы слишком долго, тем более, что значительная часть ее, как мы уже упомянули, занята изложением содержания комедии Каратыгина, комедии ныне устаустаревшей, да и в свое время бывшей достаточно безинтересной. Приведем только начало статьи, рисующее взгляды Ф. А. Кони на назначение театра. „Нынешний год—говорит Кони—особенно счастлив на комедии! Они так и льются на нашу сцену, то стихами, то прозою, и длинными актами своими сметают помаленьку с помостов водевильную дребедень незамысловатых фарсов, которые было совсем завладели нашим народным театром. Спасибо им, добрым комедиям, за благое намерение поочистить немножко вкус нашей сценической литературы и дать ея деятельности более полезное и разумное направление. Талия наша воскресла, Талия рукоплещет, Талия опять принялась за дело, которое во время своего долгаго отдыха, предоставила было исключительно Момусу, но она до того отвыкла от обычных своих приемов, от ловкости, от грации, от вкуса, от простоты и естественности, что еще никак не может попасть на настоящую дорогу. Кисть ея стала резка, краски грязноваты, контуры не точны, стиль небрежен.

Зеркало истины сильно попортилось". Вот по старомодному вычурная, но горячая и искренняя отповедь тогдашнему репертуару, отповедь водевилям, несколько неожиданная в устах автора десятков этих самых водевилей. В ней сказывается чуткость знатока театра, чувствующего, что старыя формы сценическаго творчества почти изжиты, что должны народиться и действительно нарождаются новыя, что жизнь требует от театра, чтобы он перестал быть только местом забавы, но стал школой...

* * *

Однако, чувствуя и понимая все это Ф. А. Кони на практике не мог отказаться от милаго его сердцу водевиля, в котором он был такой мастер, с куплетами, в которых он достиг еще большаго мастерства [1]). Правда, как отмечает А. А. Измайлов в своей статье «Федор Кони и старый водевиль» («Ежегодник Императорских театров» 1909, вып. III, стр. 1—37) Кони, будучи в диалоге и монологе, совершенно чуж-

---

1) В статье своей „Русские водевилисты" ("Театр и искусство" 1898 г. №№ 35, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 50, 52) Ю. Д. Беляев, говоря о Ф. А. Кони, замечает: «Кони быстро овладел водевильным стилем, образчики котораго мы видели в произведениях Хмельницкаго. Он не только воспринял от своего предшественника внешнюю форму водевиля, но и развил в себе природную способность схватывать в людях все смешныя стороны и излагать в живой, задорной форме куплеты. Звание перваго русскаго куплетиста должно быть, по всей справедливости, присуждено Кони. Если Хмельницкий был водевилистом по преимуществу—Кони был им по природе».

лым русской жизни, в куплетах часто затрагивал «самыя несомненныя язвы чисто русской жизни, бичевал подлинные русские грехи и нелепости», но дальше этого дело не шло. По неизвестным нам причинам Кони, как говорит Измайлов, и не пробовал своих сил в серьезной драме или комедии. Он только перевел несколько серьезных пьес, в том числе Гетевскаго «Клавиго», и дебютировал «юридической мелодрамой» — «Смерть Калхаса». Некоторую попытку подойти к драматическому творчеству он сделал своею одноактною же «военною былью» — «Архип Осипов или Русская крепость», стоящею особняком в его четырех томиках водевилей. Но это скорее попытка «представления для народа», чем подлинной драмы» [1]).

В сезон 1850—51 гг. Кони, как было уже упомянуто выше, выступил с шуткой-поговоркой в двух картинах, с куплетами, под названием «Великий шут Иван Иванович» [2]), представленной в первый раз, в С.-Петербурге, «императорскими придворными актерами», 17 июля 1850 года, в бенефис артистки г-жи Сандуновой. В бенефис этот, кроме упомянутой шутки, шла еще двухактная драма г-жи Юрьевой, т. е. самой бенефициантки (переделка с французского) «Порыв и страсть, или Два женские сердца», а также

---

[1]) А. Измайлов «Федор Кони и старый водевиль» «Ежегодник Имп. театров» 1909, вып. III, стр. 35.

[2]) Напечатана при шестой книжке (июнь) „Пантеона и репертуара русской сцены“ за 1851 год.

«Лев и львица», комедия в одном действии Г. Яковлевскаго и «Покойный муж и его вдова» Ф. А. Кони.

В своем отчете о бенефисе, «Северная Пчела» [1]), орган пресловутого Фаддея Венедиктовича Булгарина, так метко и зло высмеяннаго Кони в его «Петербургских квартирах» под именем журналиста Задарина, говорит: «Вот последний из летних бенефисов, а как все газеты заранее провозвестили о прекрасном составе его, то театр и был полон. Этим публика наша отдала полную справедливость как дарованию г-жи Сандуновой, так и авторам, подарившим ей свои пьесы. После всех похвал, заранее напечатанных об этом бенефисе, очень трудно теперь фельетонисту беспристрастно высказать свое мнение. Повторить говоренное другими? все скажут, что это очень легкая работа. Не согласиться со всеми? Еще хуже! скажут, что фельетонист руководствуется духом противоречия. Но как середины нет, то мы притворимся, будто бы не читали заблаговременных похвал и ничего не знаем о них, а независимо от всякаго постороняго влияния скажем свое мнение, с посильным нашим разумением и всегдашнею благонамеренностью». Далее, фельетонист, укрывшийся под инициалами Р. З. (не Рафаил ли Зотов?) говорит: «Третьею пьесою была шутка—поговорка: «Всякий шут Иван Иванович». Тут, в первой картине, действие происходит в Торжке. Уездный судья Иван Иванович Иванов, в день серебряной своей свадьбы.

[1]) „Северная Пчела" № 166, Четверток, 27 июля 1850 г.

получает чин и пенсию. Он сбирается ехать в Тверь благодарить губернатора, но поссорясь с женою из-за потерянных ключей, вдруг садится в дилижанс и уезжает в Петербург. Во второй картине он уже в Петербурге. Здесь, в трактире, где он остановился, судьба посылает ему еще двух Иванов Ивановичей Ивановых. Его принимают за мужа чужой жены, за отца незаконного сына, даже наконец за сумасшедшего, бежавшего из желтого дома, и все это производит множество забавных сцен, которые заставили публику хохотать до упаду целый час. Вызывали автора и всех актеров. Г. Мартынов был превосходен и морил со смеху. Г. Марковецкий был очень хорош в роли молодого купчика подлипалы. Весь водевиль написан прекрасно; куплеты веселы и остроумны, особенно разсказ Г. Марковецкаго о Петербургских удовольствиях. Хотя подобные куплеты есть во многих водевилях, но умное и острое никогда не наскучит: мы лично только не согласны с автором в насмешках его над пассажем и искусственными водами, но это не мешает куплетам быть веселыми и остроумными».

Мы умышленно выбрали «Северную Пчелу», как орган враждебный Кони для того, чтобы тем сильнее подчеркнуть успех его водевиля. Для примера того, что нравилось и что осуждалось современной публикой и критикой приведем часть куплетов купчика Бородавкина (Марковецкаго).

«А на счет скажу Пассажа,
Есть ли в мире где такой?

Преогромный, в три этажа,
А ведь летом,—весь пустой.

Хоть торговля там в изъяне,
Плохо сводится итог,
Да зато поют цыгане:
«Уж как веет ветерок»!

Все в размерах здесь гигантских,
От палат до фонарей...
И, окромя «итальянских»
Не бывает здесь ночей.

Чтоб потешить слух и взоры
Польки дуют на трубах,
Огнедышащие горы
Вам построят на Водах».

Напомним здесь кстати, что скромнейший по теперешним нашим понятиям Ф. А. Кони получил от А. И. Вольфа [1]) следующий, совершенно непонятный нам теперь упрек за куплеты шедшего в сезон 1850—51 гг. водевиля «Девушка гусар». «Другое дело Ф. А. Кони, тот действительно был не прочь от выходок клубничного свойства. Правда, что эти выходки и пикантные куплеты доставляли громадный успех его водевилям. Например, в «Девушке гусар» какой гром аплодисментов и криков фора! фора! (тогда «фора» заменяла нынешнее слово bis) раздавался по окончании нижеследующего куплетца, который даже нельзя

[1]) А. И. Вольф „Хроника Петербургских театров". Часть I, стр. 53, 54.

назвать и двусмысленным. Пела его Асенкова, игравшая роль девушки, привезенной из пансиона, и которую, вследствие разных обстоятельств, нужно выдать замуж за гусарскаго юнкера.

«Пожалейте друзья
Там до смерти меня
Арифметикой скоро замучат,
Но весь век свой считать,

Да зады повторять
Вот это ей-Богу терзанье!
Будет муж и тогда,
Велика-ли беда,

Что не знает жена вычитанья!
Без усилий уму
Я сложенье пойму,
В том нет никакого сомненья,

А деленье к тому ж
Будет делать мне муж
И нужныя все умноженья»!

Не правда ли, что г. Кони опередил свой век? Ему бы следовало подвизаться на драматическом поприще в эпоху «Прекрасной Елены», «Синей Бороды», и «Герцогини Герольштейнской».

На примере 1850—51 гг. мы попытались напомнить о старых водевилях и старых водевилистах.

Их время прошло и, надо думать, прошло безвозвратно. По крайней мере на нашей памяти две попытки возродить водевиль окончились неудачей. Первая принадлежала Чехову, который пытался возродить водевиль в тонах современных, и который принужден был откровенно признаться, что у него для водевиля «нужного настроения не было». «Для водевиля—говорил он—нужно, понимаете, особое расположение духа, жизнерадостное, как у свеженспеченного прапорщика, а где его возьмешь в наше паскудное время [1])». Вторую попытку сделал Юрий Беляев, который в своей «Путанице или 1840» внешне искусно реконструировал старый водевиль со всеми его законами, но при этом подернул его каким-то неуловимым покровом элегической грусти. Получился не веселый старый водевиль, а лишь вздох о нем: «Ах, водевиль, милый старый водевиль—по нем тоскуют наши скучные театры». Видимо и Беляев отдал дань «паскудному времени» и у него «нужнаго настроения не было».

Но для тех, кто, устав от современности, обратится памятью назад к тем патриархальным временам, когда жили наши деды и бабки, кто сквозь туман ряда долгих лет захочет и сумеет увидеть старую жизнь, для тех неизбежно возродится старая зала Александринскаго театра, красно освещенная живым светом

---

[1]) Андрей Осипов, „Федор Кони. Опыт биографии". „Ежегодник Имп. театров" 1905—1906. Приложение, стр. 102 142.

свечевых люстр и кенкетов, наполненная дамами в пышныхъ платьях, узких атласных башмачках и кавалерами в мундирах и фраках с высокимв воротниками, донесутся отзвуки водевильных острот и куплетов, отголоски давно смолкшего смеха, рукоплесканий и криков «фора! фора»!..

М. Беляев.

24 февраля 1924 года.

„На мотив" сказки А. С. Пушкина.

(Из практики дореформенного суда).

Лет пятнадцать тому назад, в книжном магазине Вольфа, в Гостином дворе, появилось в продаже, в небольшом количестве экземпляров, книга формата 4⁰, в хромолитографированном картонаже, на котором изображены лодка с веслами, различные рыболовные принадлежности и, между прочим, развешенные на деревьях рыбачьи сети. На этих сетях, крупными буквами, коричневого цвета краскою, было напечатано: «Сказка о рыбаке и рыбке соч. А. С. Пушкина, рисунки П. Л.». Книжка, кроме раскрашенного заглавного листа, заключала в себе десять листов хромолитографий, яркой раскраски, на которых, на находящихся среди рисунков картушах помещено по несколько строк текста, остальная-же, большая часть текста сказки напечатана на обороте рисунков. Последние по своему содержанию вполне соответствовали известной сказке Пушкина, за исключением, впрочем, заглавного листа, на котором изображены «красная шапочка» и волк, гномы и орнаменты на сюжеты других сказок.

Ясно было, что рисунок обложки работы немецкого художника, да и место печатания его показано «Дис-

сельдорф, Ариз и Комп», причем буквы *д* и *о* в первом слове напечатаны латинским шрифтом, текст-же сказки, как значится на обороте заглавного листа, печатан в гипографии М. О. Вольфа, Спб. Цензурное разрешение помечено 26 ноября 1868 г., а самое издание показано изданием книгопродавца М. О. Вольфа.

Собирая все издания сочинений Пушкина, я купил книгу, бегло просмотрел картинки, на текст-же сказки не обратил внимания и только через несколько лет, пересматривая имевшеся у меня иллюстрированные книги, увидел, что текст сказки, хотя и приписанный (как мне казалось) Пушкину, с его сказкою о «Рыбаке и рыбке» ничего общего не имеет.

Рассмотрев более внимательно обложку (картонаж) книги, я увидел, что в одной из складок упомянутых выше рыболовных сетей, в теневой ее части, между словами «Соч» (т. е. сочинение) и «А. С. Пушкина» тонкими, почти незаметным шрифтом напечатано «на мотив сказки». Те-же слова, более отчетливо, но также мелкими, сравнительно буквами, напечатаны синею краскою на голубом фоне заглавного листа и остаются мало заметными среди яркого окружающего их орнамента.

Для сравнения с оригиналом Пушкинского текста привожу начальные и заключительные строки этой сказки:

В ветхой избушке у синего моря,
Много изведав печали и горя,
Старый рыбак со старухою жил,
Неводом в море он рыбу ловил,

В ясные летние дни на рассвете;
Да у избушки чинил свои сети...

Сказка оканчивается так:

«Вновь перед ним очутилась избушка,
«Возле избушки их ветхой, старушка
«Перед разбитым корытом сидит
«Молча, недвижно, лишь плачет навзрыд».

Вскоре после обнаружения указаннаго курьеза, мне удалось узнать, что в начале шестидесятых годов между книгоиздателями Я. А. Исаковым и М. О. Вольфом была тяжба, доходившая до рассмотрения сената, по иску Исакова к Вольфу об убытках, причиненных контрафакциею и именно самовольным напечатанием сказки о Рыбаке и рыбке в то время, когда право издания сочинений Пушкина исключительно принадлежало Исакову. Затем в Журнале Министерства Юстиции за 1863 г. (т. XVIII, отдел «Судебная практика» стр. 317—326) я нашел выписку из решения 4-го Департамента и общего собрания сената по жалобе М. О. Вольфа на решение первого департамента С.-Петербургской гражданской палаты от 23 февраля, 1860 г., каковым решением было определено: «признав Вольфа самовольным издателем сказки «о Рыбаке и рыбке», предоставить Исакову, во 1-х, доказать действительную цифру понесенных от такой контрафакции убытков, и во 2-х, получить от Вольфа непроданные экземпляры означенного издания, если такие окажутся».

10 января 1861 г. сенат по 4-му департаменту определил: решение палаты утвердить, оставив апел-

лляционную жалобу Вольфа без уважения и подвергнуть его за неправость апелляционному штрафу».

По жалобе Вольфа дело перенесено было на рассмотрение общего сената собрания, где последовали разные мнения, но затем, по согласительному предложению министра юстиции, узаконенным большинством голосов, согласных с предложением министра, решение 4-го департамента было отменено «с предоставлением ему войти в рассмотрение существа происходящего между Вольфом и Исаковым спора и затем постановить вновь определение, не стесняясь прежним».

Получив эти вполне определенные указания на время рассмотрения дела в судебных местах, я долго не мог найти подлинного производства в архиве 6. палаты гражданскаго суда и только в конце 1916 или начале 1917 г. архивное дело было розыскано и я мог получить копии с нескольких документов немедленно, не выжидая обещанной передачи всего архивного дела в Пушкинский музей при Александровском лицее.

Во время бывшего в начале марта 1917 г. пожара в здании 6. окружного суда, все находившееся в нем архивы, в том числе и архив 6. Палаты Гражданскаго Суда, сгорели.

В Публичной библиотеке оказался экземпляр подлинной сказки Пушкина «о Рыбаке и рыбке», напечатанный Вольфом в 1859 г. с теми же самыми иллюстрациями и в такой же обложке (картонаже) как описанныя выше. Было ясно, что, пропграв

дело в суде в середине шестидесятых годов, М. О. Вольф, имея запас заграничных, «Дюссельдорфских» хромолитографий, или получив новые оттиски с сохранившихся камней, заказал неизвестному поэту новые стихи «на мотив» сказки Пушкина и в 1868 г., с разрешения цензуры, пустил книгу в продажу.

В каталоге книжных магазинов М. О. Вольфа на 1872 г., в отделе детских книг, под № 14.700 значится: «Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке, рисунки Анненского. В 4 д. л. с хромолитогр. картинами в красивом переплете, изд. Вольфа». С уверенностью можно сказать, что к 1886 году в продаже этого издания уже не было, вряд-ли о нем были и отзывы в печати, так как в весьма полном библиографическом указателе В. П. Межова (Puschkiniana, изд. Александровского лицея 1886 г.), в котором указаны, между прочим подражания и переделки сочинений Пушкина, об этой книге, как равно и об издании Вольфа 1858 г. не упоминается, появление же в магазине Вольфа нескольких экземпляров сказки «на мотив» Пушкина в начале девятисотых годов об'ясняется тем, что в это время разобраны были склады старых Вольфовских изданий и немногие найденные экземпляры были пущены в продажу.

Из имеющихся в настоящее время в Пушкинском Доме копий упомянутых выше документов из первого и второго (до и после решения Сената) производства Гражданской Палаты (копии окончательного решения мною получено не было), особый интерес представляют нижеследующие:

1) Исковое прошение Я. А. Исакова, поданное в Палату в Сентябре 1859 г., в коем он объяснил, что М. О. Вольф, в нарушение его, Исакова, прав, в конце 1858 г. отпечатал около 1200 экз. сказки о Рыбаке и рыбке, соч. Пушкина и эту книгу продавал по 2 р. 75 к. за экземпляр, почему он, Исаков, просит признать Вольфа виновным в контрафакции и обязанным по ст. 304 Уст. Цензурного изд. 1857 г. заплатить ему убыток по приблизительному расчету всего 1860 р.

2) Приложенный к означенному прошению договор от 31 Октября 1857 г., заключенный с одной стороны наследниками А. С. Пушкина, сыновьями его Александром и Григорием и дочерьми—девицею Марией и Наталией Дубельт, с согласия матери их Натали Николаевны, по второму браку Ланской, отрекшейся от наследования в оставшемся после А. С. Пушкина имении и П. В. Анненкова, приобретшаго от них права на напечатание в пяти тысячах экземплярах литературных сочинений Пушкина, а с другой стороны Спб. второй гильдии купцом Я. А. Исаковым—на приобретение последним, начиная с Мая месяца 1858 г. впредь до истечения пятидесятого года со дня кончины А. С. Пушкина права «на все без изъятия литературные произведения его, как до сего сего времени напечатанные, так и могущие оказаться на будущее время в рукописях, при чем ему, Исакову, его наследникам и правопреемникам предоставляется право издавать эти сочинения как в России, так и заграницей, в подлиннике и переводах, просто

или с гравюрами и литографиями». «Само собою разумеется», сказано в договоре, «что к числу литературных произведений показаннаго А. С. Пушкина не могут относиться его письма, содержащие в себе семейные обстоятельства и составляющие родственную семейную переписку».

За приобретение указанных прав на издание сочинений Пушкина почти в течении тридцати лет (с мая 1858 по 29 января 1887 г.) Исаков обязался уплатить 32.500 руб. сер., в число коих уплатил при заключении условия 25 т., остальную же сумму должен был уплатить не позже 1 Февраля 1858 г. На договоре имеются две надписи Н. Н. Ланской о получении ею, по доверенности ея детей, 5500 р. Время когда получены эти деньги неуказано, а равно нет росписки в уплате остальных следуемых по договору 2/т. р.

3) В декабре месяце 1859 г. в Гражданскую палату поступило заявление Вольфа о том, что его издание сказки о Рыбаке и рыбке» «давно уже продано кол. секретарю В. А. Рогальскому» и что находящиеся у него в магазине экземпляры он приобретает от названного Рогальскаго. 10 мая 1861 г. Вольф заявил палате, что у него вовсе не имеется экземпляров сказки «о Рыбаке и рыбке».

4) В подтверждение понесенных им убытков Исаков представил в Палату письма к нему книгоиздателей и типографов И. Глазунова, Праца и Гогенфельда. которые, между прочим, объяснили, что сочинения «известнейших писателей» обыкновенно печатались в ко-

личестве от трех и до десяти тысяч экземпляров разом, что сочинения Пушкина были напечатаны два раза по 10/т. и один раз 5/т. экз.

18 Октября 1861 г., во исполнение указа Гражданской Палаты, командированные купеческою управою эксперты произвели оценку изданной Вольфом сказки и признали, что «все издание вместе взятое, стоит 90 коп. за экземпляр».

5) После возвращения дела из Сената в Гражданскую Палату для нового рассмотрения, Палата просила с.-петербургский университет разрешить вопрос: «какого рода издание составляет изданная купцом Вольфом сказка о Рыбаке и рыбке—живописно-ли художественное, картины коего поясняются стихами Пушкина или это есть простая перепечатка этой сказки».

Юридический факультет, на заключение коего поступил запрос Палаты, признал, что хотя цензурным комитетом и было одновременно разрешено Вольфу издать «сборник Русских сказок в иллюстрациях» и «сказку о Рыбаке и рыбке, как первый выпуск таких сказок, но тем не менее изданная Вольфом сказка Пушкина не может быть признана частью такого сборника, в котором закон дозволяет помещать чужие сочинения. По вопросу о том, что присоединенные Вольфом картины к сказке не лишает ли его издание характера простой перепечатки, факультет признал, что этот вопрос не может быть разрешен на основании точного определения положительных законов, ничего о подобных случаях не постановляющих.

«В необходимости точного для подобных случаев определения закона», сказано в заключении факультета, «убеждает тяжба Вольфа с Исаковым, если обратить внимание на вопрос убытка, доставленного изданием Вольфа Исакову: отдельно изданная Исаковым сказка о Рыбаке и рыбке—продается по 4 коп., изданная-же Вольфом эта же сказка с картинками продается по 2 руб. 50 коп. В виду изложенного, юридический факультет полагал, что изданная Вольфом сказка «есть не простая перепечатка, но изменяющая, посредством присоединенных к изданию картин, продажную цену, объявленную собственником этой сказки, не ко вреду собственника и может быть подведена под контрафакцию только при буквальном применении закона, но совершенно вопреки духу рускаго законодательства, обеспечивающего право литературной собственности» (заключение подписал декан Ивановский и скрепил секретарь юрид. факультета С. Панов, 23 марта 1864 г.).

Копии окончательного решения суда, как сказано выше, не имеется, было-ли закончено дело в гражданской палате или оно перешло во вновь открытые судебные установления неизвестно, но из самого факта использования Вольфом картинок к Пушкинской сказке для издания произведения неизвестного писателя «на мотив сказки А. С. Пушкина» можно с уверенностью сказать, что дело было решено судом не в пользу Вольфа.

П. Рейнбот.

10 февраля 1924-г.

Неизданная записка Тургенева.

В своих «Воспоминаниях» Фет рассказывает под 1856 годом следующее:

«Зная мою страсть к романсам, и романсам Глинки в особенности, Тургенев однажды вечером повез меня к певице, мужу которой не без основания предсказывал блестящую будущность на дипломатическом поприще. Я был представлен трем сестрам певицам, из которых две случайно в этот вечер встретились в салоне старшей их сестры, хозяйки дома. Справедливость вынуждает сказать, что именно сама хозяйка была менее всех сестер наделена красотою. Спровадив более или менее формальных гостей, хозяйка сумела увести своих сестер и нас с Тургеневым в залу к роялю, и тут началось прелестнейшее трио. Но вот сестры хозяйки, вынужденные возвратиться домой, ушли одна за другою, и мы остались с Тургеневым у рояля, за которым хозяйка приступила к специальному исполнению романсов Глинки. Во всю жизнь я не мог забыть этого изящного и вдохновенного пения. Восторг, окрылявший певицу, сообщал обращенному к нам лицу ее духовную красоту, перед которой должна бы померкнуть заурядная, хотя

бы и несомненная красота. Душевное волнение Глинки, передаваемое нам певицею, прежде всего потрясало ее самое, и в конце романса она, закрывая лицо нотами, уходила от нас, чтобы некоторое время оправиться от осиливших ее рыданий. Минут через пять она возвращалась снова и без всяких приглашений продолжала петь. Я никогда уже не слыхал такого исполнения Глинки»...

Эти «три сестры» певицы были: Александра Ивановна Гирс, рожденная Бунина, бывшая замужем за Александром Карловичем Гирсом, — которого Фет очевидно смешал с его братом Николаем, дипломатом, сперва посланником нашим в Швеции, а потом министром иностр. дел, тогда как Александр Карлович был позднее товарищем министра финансов, — и ее сестры Надежда и Вера Ивановны, из которых вторая впоследствии вышла замуж за Алексея Ивановича Павлова. Все три сестры, особенно Александра и Вера Ивановны, были очень талантливы, т. е. очень музыкальны и свои способности передали и своим детям; из числа последних А.л. А.л. Гирс — во второй половине своей жизни сделавший дипломатическую карьеру, которую Тургенев якобы предсказывал его отцу, был серьезным музыкантом, автором очень симпатичных романсов, брат его, Сергей, одно время пел на сцене, а сын В. И. Павловой, тоже Сергей, был превосходным пианистом и мог бы сделаться настоящим виртуозом, но умер в расцвете молодости от чахотки, которой никто не мог предположить у этого здорового, румяного, широкоплечего красавца-юноши.

У Александры Ивановны Гирс, всеми друзьями и знакомыми считавшейся неотразимой чаровницей, несмотря на то отсутствие красоты, о котором говорит Фет, в 50-х и 60-х годах прошлого столетия нередко собиралось очень интересное и избранное общество. Она была знакома и с Глинкой, и с Даргомыжским, и с Балакиревым, и с Тургеневым, Островским и Фетом; постоянными посетителями ее интимных вечеров бывали Влад. Петр. Опочинин — певец-любитель с великолепным басом, соперничавший с тогдашними итальянскими знаменитостями, и Андрей Ник. Маркевич, отличный виолончелист, который в эти годы особенно часто у нее музицировал с Д. В. Стасовым: последний был любимым и постоянным аккомпаниатором Александры Ивановны и большим ее другом. Эта дружба, очень поэтическая и сердечная, была даже больше чем дружба, но отнюдь не любовь в вульгарном понимании этого чувства, а то, что французы называют «une amitié amoureuse». Александра Ивановна славилась, между прочим, умением писать «очаровательные записки» своим друзьям и знакомым. Сохранилось несколько таких ее записок, относящихся, главным образом, к 1859 и 60 годам, по русски и по французски к Д. В. Стасову. В одной она между прочим просит Д. В. придти прочитать ей «cette nouvelle chose de Тургенев». В другой, сожалея, что, Д. В. не был у нее в день своего рождения (20 января) и посылая ему свои французские пожелания счастья на его новый год, прибавляет: «Maintenant il s'agit de nous rattraper sous ce rapport —

c'est avec impatience que j'attendrai que Vous me donniez une soirée avec Маркевич, c'est vrai que ce n'est qu'en petite société, toute petite, qu'on peut faire de la musique». В третьей, гневаясь на то, что Д. В. не был накануне на ее вечере, пишет: «Я, конечно, должна на вас сердиться, но вы сами себя наказали, что вчера у нас не были. Мы провели такой вечер, каких не много бывает. Музыка шла как никогда — и в числе слушателей были Тургенев и Островский (!!!) Я плачу за зло добром, почему и приглашаю вас приехать к нам в субботу вечером, Тургенев будет читать»...

Познакомившись с Д. В. Стасовым на одном из этих музыкальных вечеров «en toute petite société», Тургенев очень заинтересовался только что нарождавшимся Русским Музыкальным Обществом, одним из пяти основателей которого был Д. В. Стасов, и не раз обращался к нему сам, или через общих приятелей, с просьбою доставить ему билет на новоосновавшиеся симфонические концерты Общества или на квартетные вечера. Но печатаемая нами записка Тургенева к Д. В. относится не до музыкального, а до драматического искусства, а по времени предшествует тому вечеру, когда Тургенев был у Гиров с Островским, т. к. помечена 3 марта 1859 года. В начале этого года знаменитый Мартынов поразил и привел в восхищение всех ценителей прекрасною своею игрою в «Не в деньгах счастье», и компания молодых и старых его поклонников, с Тургеневым и Краевским во главе, дала ему обед, после которого

все снялись у Деньера и поднесли Мартынову альбом с портретами всех участников обеда. Через несколько дней после большого этого обеда, часть подносивших альбом, обедая «en toute petite société» у Вери, ресторан которого находился в том же доме, где и комнаты, в которых останавливался Тургенев, в конце обеда, как это часто делается, послали к Тургеневу, прося его придти к ним, чтобы выпить за его здоровье, или предлагая самим подняться в его комнаты. В ответ на это Тургенев прислал на имя Д. В. следующую записку:

«Любезные друзья, не могу я, к сожалению к Вам придти и Вас не зову к себе — потому что ко мне сейчас должна придти Г-жа Маркович [1]) с мужем и желает никого здесь не встретить. А Краевский велит сказать всем участникам Мартыновского обеда, что Деньер ждет их завтра от 12 до 3.

Ваш И. Тургенев.

На втором листочке этой записки Д. В. Стасов приписал несколько об'яснительных слов: «Обедали

[1]) М. А. Маркович, известная писательница Марко-Вовчок, бывшая замужем за родственником вышеупомянутого Андрея Николаевича Мàрковича или Маркѐвича, как его называли и как он сам себя называл в царствование Александра II, лишь позднее переменив ударение и гласную в своей фамилии на малороссийский лад вместо польского.

у Вери Авдеев [1]) В. Н. Боткин, Погуляев [2]), Половцов [3]) и Д. Стасов и послали звать Тургенева или придти к нему. Обед назначено было дать Мартынову за его роль «Не в деньгах счастье» и поднести ему альбом с портретами».

В. Комарова.

---

[1]) Известный писатель М. В. Авдеев, автор «Тамарина» «Меж двух огней» и др.

[2]) Николай Тимофеевич Погуляев, правовед 2 выпуска, женатый на приятельнице А. П. Гире и семьи Стасовых — Фанни Ивановне Трузсон.

[3]) Половцов, Александр Александрович, впоследствии статс-секретарь, в те годы еще не бывший тем богачем, каким сделался после женитьбы на побочной дочери банкира Штиглица, большой приятель Д. В. Стасова, деливший с ним досуги и развлечения.

Ричард де-Бери и его „Филоби́блон".

Если Франция считается матерью современной библиографии, то библиофильство нашло для себя наибольшее развитие в Англии. В этой стране особенно умеют ценить и беречь книгу. Даже и читают ее здесь с таким энтузиазмом и увлечением, какие не только, казалось бы, не свойственны этому флегматичному народу, но и не слыханы, пожалуй, еще где бы то ни было. По крайней мере Джон Леббок в своей известной книге «Успехи и радости жизни» рассказывает про своих соотечественников следующий любопытный факт. Жители одной деревни каждый вечер сходились к местному кузнецу для чтения классического романа Ричардсона (1689 — 1761) «Памела или вознагражденная добродетель». Когда они дошли до последней главы, где героиня, после бесчисленного ряда превратностей, соединялась, наконец, с избранником сердца, то все собрание пришло в такой восторг, что не только разразилось громогласными «ура», но устремилось в церковь, чтобы при звоне во все колокола благодарить небо за такое благополучное окончание.

Эта любовь к книге ведет в Англии свое начало с весьма давних времен. Одним из первых ее представителей, и при том могущих сделать честь любому времени и любому народу, было то лицо, имя которого стоит в заголовке настоящей статьи.

Ричард де-Бери по своему происхождению принадлежал к аристократическим семействам Англии. Биография его в общем хорошо известна, но здесь достаточно рассказать ее лишь постольку, поскольку она имеет отношение к его библиофильству. Он родился, вероятно, в 1287 г., потому что, по свидетельству одной рукописи его трактата, считал себе в 1345 г. 58 лет. Высшее образование он получил в Оксфорде и, вероятно, своими выдающимися успехами и дарованиями — про другие причины ничего не известно — обратил на себя внимание тогдашнего короля Эдуарда II, который сделал де-Бери наставником своего сына, будущего Эдуарда III. При столкновениях, которые были у Эдуарда II с его женой и сыном, Ричард держал сторону этих последних, помогая им деньгами, и даже однажды принужден был прятаться от преследования приближенных короля на одной из парижских колоколен целых 7 дней. За то, с вступлением на престол Эдуарда III, питомец излил на своего воспитателя целый поток милостей. Помимо ряда полученных тогда Ричардом почетных и высоких должностей папа, по рекомендации короля, обещал предоставить ему первую свободную епископскую кафедру в Англии. Это осуществилось в конце 1333 г., когда таковая вакансия от-

крылась в городе Дурэме (Durham). Наряду с этим король давал своему бывшему воспитателю разного рода важные дипломатические поручения, заставлявшие его часто бывать за границей.

В общем де-Бери был очень общительный человек, большой любитель образованного общества, не исключая и дамского, а особенно всех лиц, имевших то или другое отношение к книге. На них он тратил огромную долю своих значительных доходов, извлекал для приобретения их все выгоды из своих многочисленных путешествий и не отказывал себе в удовольствии вступать ради них в сношения с иностранными книгопродавцами и странствующими монахами. Наконец, этот высокопоставленный человек, безусловно честный и порядочный, откровенно признается своим читателям, что, во время его наивысшего могущества и влияния при дворе Эдуарда III, ничем нельзя было приобрести его протекцию, иначе как книгами. Хотя книги в то время стоили сравнительно много дороже, чем даже в наши тяжелые дни, но все же истинных ценителей и любителей их было относительно так же немного, как и теперь: поэтому подарки такого рода де-Бери, подобно Леонтию Козлову в «Обрыве», получал чаще всего, тем более, что перед английским епископом, как перед одним из сильнейших мира сего, широко растворялись двери не только частных но и монастырских книгохранилищ. В результате у него получилась огромная библиотека, превосходившая количеством все книжные собрания остальных епископов Англии, взятые вместе. Так

определяет богатство епископа-библиофила один из старинных летописцев, писавший по свежим воспоминаниям о Ричарде. Он же прибавляет, что все свободное время де-Бери отдавал только божественной службе и книгам. Другой еще более авторитетный хроникер, несомненно современник Ричарда и, вероятно, встречавшийся с ним, также отмечает, что он собрал себе бесконечное число книг, как подаренных, так и взятых в пользование из различных монастырей и купленных, так что (характерное для того времени определение!) их нельзя было увезти на пяти больших повозках (carecte). Хранилась эта библиотека, повидимому, не в одном месте, а в различных имениях прелата, причем значительное число томов всегда ему сопутствовало, так что, по словам старой хроники, в его спальне нельзя было ни стать, ни шагнуть без того, чтобы не наступить на какую либо книгу. Конечно, владелец не мог не быть озабоченным грядущею судьбою этого огромного собрания и хотел заблаговременно подыскать ему надлежащее применение. Именно, он желал основать особый колледж при своей alma mater, Оксфордском университете, и сделать его местом хранения своей библиотеки. Но, повидимому, продолжительная и тяжкая предсмертная болезнь епископа помешала ему осуществить свое благое намерение. Во всяком случае, ныне в Оксфорде нет никаких следов этого собрания, и только в Британском музее хранится всего одна рукопись с несомненным указанием на свою принадлежность некогда к библиотеке Ричарда де-Бери.

К сожалению, как ни поучителен этот пример для всех владельцев больших книгохранилищ, он не убедил и не убеждает многих. Сколько аналогичных сказанному примеров видели и видим мы, особенно у нас в России! Как бы то ни было, книги были единственным ценным достоянием Ричарда, так как старинный биограф с трогательною наивностью сообщает, что после его смерти (14-го апреля 1345 г.) в том ящике, где предполагали найти сокровища, оказалось белье. Другой летописец не только подтверждает то же самое, но усугубляет его еще более потрясающими подробностями. «При кончине епископа его приближенные разграбили все его движимое имущество до такой степени, что покойника пришлось одеть в исподнюю рубашку одного служителя». Этот же хроникер сообщает, что прелат жил не по средствам, почему скончал дни свои в тягчайшей бедности. Если это так, то позволительно сделать предположение, не пошли ли книги на уплату долгов епископа. Но крайней мере на упомянутой выше рукописи, принадлежавшей несомненно библиотеке де-Бери, есть помета следующего ее владельца, что она куплена у душеприкащиков епископа. Не сохранилось даже и надгробия знаменитого собирателя книг, но уцелела его печать, по которой одно из нью-йоркских библиофильских обществ (Grolier-Socie(y) восстановило этот памятник.

Хотя, таким образом, огромная библиотека Ричарда де-Бери исчезла почти бесследно, он все же сумел обессмертить свое имя и свою пламенную любовь

к книгам небольшим латинским трактатом, который и поныне должен оставаться настольным для библиофилов. Интерес книжки усугубляется еще тем, что она — первый дошедший до нас труд по данному вопросу. Это — его сочинение, озаглавленное греческим словом «филобиблон», т. е. любокнижие. Теперь составные части этого термина употребляются в обратном порядке — «библиофильство», т. е. книголюбие [1]).

Трактат Ричарда де-Бери сохранился, приблизительно, в 40 рукописях XIV — XV столетий. Первое печатное издание «Филобиблона» вышло в Кельне в 1473 г. Из новых обработок текста, доступных мне, лучшая — английская, E. C. Thomas (Лондон 1888 г.), по которой я и делаю ссылки.

Хотя де-Бери и говорит о том, что написал свою книжку самым легким современным стилем, однако понимание ее во многих местах представляет значительные затруднения, так как автор, высокопоставленный вельможа и видное духовное лицо, выражает в общем свои мысли торжественно и величаво, с многочисленными и иногда насильственно притянутыми и истолкованными цитатами из библии, пишет длинными периодами с нередко не идущими к делу сравнениями, натянутой игрой слов и, как это ни странно на первый взгляд, в общем весьма далеко от правильности классической латинской речи. Поэтому

---

[1]) Ср. мою заметку «О термине «библиофильство» — «Библиограф. листы Русск. Библиолог. Общ.», III, стр. 1—2.

большинство лиц, приводивших цитаты из «Филобиблона», дают не столько точный перевод текста, как более или менее близкий пересказ его.

Перейдем теперь к изложению тех задач, которыми руководствовался Ричард де-Бери при написании своей книжки, а также выяснению того, в чем полагал он сущность библиофильства. К сожалению, в трактате не мало повторений, почему я позволю себе, при передаче его основных мыслей, отступить от порядка изложения по главам. В своей любви к книгам епископ признается неоднократно. Эта страсть его, очевидно, по тому времени казалась чем то столь необычайным, что сам он, как истинно верующий христианин, стал сомневаться, нет ли в этом чувстве его чего-либо преступного. Он говорит (§ 245), что не дерзает искать совершенного оправдания в своей страстной и уже давней любви к книгам, так что она, может быть, давала ему иногда случай к какому-нибудь простительному греху. Мало того, и самый трактат написан отчасти в тех видах (§ 12), чтобы очистить от излишества любовь, которую автор возымел к книгам.

Само собой понятно, что такой пламенный поклонник книг вполне способен рассматривать их, как живые существа. Так, он говорит о том (§ 64), как прожорливые черви точат утробы книг, от чего те получают сильную резь во внутренностях; как спины и бока книг (§ 62) страдают от разных болезней, например, от подагры (§ 63), на что указывают их скрюченные оконечности; как дым и пыль, беспре-

плотственно садясь на книги, создают им гнойное воспаление глаз. Нет ничего удивительного поэтому, что автор пишет целую главу (IV) от лица книг, где изливает их жалобы на духовенство, к чему мы еще вернемся.

Если, далее, в своей любви к книгам человек доходит до одухотворения их, то он должен обращаться с ними самым бережным образом и учить тому же других. Это мы и имеем в одной из любопытнейших глав трактата — XVII, где де-Бери особенно возмущается небрежным отношением к книгам со стороны учащейся молодежи, для которой он и назначал свою главную драгоценность — библиотеку — и хотел, чтобы это сокровище сохранялось возможно долее. Вот его подлинные слова по этому поводу (§ 219): «Ты можешь увидеть крепколобого юношу, вяло сидящего за ученьем, и, когда в зимнюю пору стужа леденит его, с его носа, мокрого от охватившего его мороза, каплет, и он не раньше соблаговолит высморкаться, как окропит лежащую под ним книгу позорной росой. Ах, если бы вместо кодекса подложить ему фартук сапожника! У него есть черный, как смоль, ноготь, наполненный вонючим навозом; им отмечает он место, содержание которого ему нравится. Он распределяет бесчисленные соломинки, которые размещает в различных местах концом наружу, чтобы прутик воспроизводил то, чего не удерживает память. Так как чрево книги не переваривает этих соломинок и никто их не вытаскивает из нее, то они прежде всего растягивают книгу от

ее обычного сжима и, наконец, гниют, по нерадивости преданные забвению».

Но книголюб-епископ не довольствуется самооправданием в своем увлечении. Он хочет доказать, что все люди должны любить и уважать книги. Он признает (§ 201), что занятие литературой или книгами и есть настоящая жизнь человека, точно так же, как учил Сенека, что досуг без литературных занятий есть смерть для людей и похороны их заживо. Стремление к книгам есть требование строго логическое: все люди (§ 37) по своей природе жаждут знания, более желанного, чем все богатства; поэтому какой же человек, живущий согласно с природой, не имеет влечения к книгам? Значение книги непреходяще: она сильнее своего творца, который рождается, растет и умирает, а книга переживает его; пока будет существовать книга (§ 26), автор, оставаясь бессмертным, не может погибнуть. Книги (§ 198) помогают нам созерцать границы мира, предел времени и оживляют нам все уже несуществующее. Если кто считает, что все это можно постигнуть и из живого слова учителя, то де-Бери, с горьким намеком на практику своего времени, отдает книгам решительное предпочтение пред устным преподаванием. «С какою (§ 26) безопасностью мы без стыда обнажаем перед книгами бедность человеческого невежества. Они — учителя, наставляющие нас без розог и линейки, без криков и желчи, без торжественных одеяний и денег. Если ты подходишь к ним, они не спят; если, допытываясь, спрашиваешь, они не прячутся; не ворчат,

если ты заблуждаешься: не умеют насмехаться, если ты чего не знаешь». Если, таким образом, все люди должны любить книги, то для некоторых классов общества они являются решительной необходимостью. Так, книги должны составлять неотъемлемую принадлежность духовенства: «Кто из вас», говорит от лица книг епископ своим собратьям (§ 57), «взойдет на кафедру..., не посоветовавшись основательно с нами?» Горько поэтому было прелату, что тогдашние клирики не ценили книг, от которых истекают все их доходы, и допускали варварское обращение с ними, если не сами, то в лице своих сожительниц, этой язвы быта духовенства, которая, повидимому, также сильно терзала сердце набожного прелата. «Места (§ 16) наши (в домах клириков) занимают то собаки, то птицы, то двуногое животное, сожительство с которым издревле запрещалось клирикам и избегать которого больше, чем аспида и василиска, мы всегда учили своих питомцев; поэтому она постоянно ревнует к занятию нами и ни на миг не примиряется: увидя нас, в конце концов, в углу, прикрытыми лишь тканью уже издохшего паука, она, нахмурив лоб, с ядовитыми речами позорит нас и злобно издевается над нами, указывает, что мы — лишние и чужие среди всей домашней утвари, и жалуется, что мы негодны в хозяйстве ни для какой надобности; тотчас советует она обменить нас на дорогие шляпы, на кисею, шелк, дважды окрашенный пурпур, на платья, на разные меха, на шерсть, на полотно».

Английского епископа нередко называли библиоманом. Но это не так. Свою пламенную любовь к книгам де-Бери умел подчинить требованиям разума. Не к чему распространяться о том, что он протестует против излишнего раскрашиванья и золочения книг (§ 72), признавая неестественным такое отношение к сосудам священной мудрости. Равным образом и по вопросу о приобретении книг Ричард признает (§ 39), что никакая дороговизна не должна удерживать человека от их покупки, но сейчас же оговаривается: «за исключением тех случаев, когда надо дать отпор лукавству продавца или выждать более удобное время для приобретения». Наконец, что окончательно освобождает почтенного прелата от упрека в библиомании, это то, что он делал при своих покупках известный выбор между книгами, а не приобретал их все и без разбора. Так (гл. XI), он отдает явное предпочтение книгам по так-называемым благородным наукам пред книгами по праву, указывая, что эти последние содействуют более всего прибыльным земным делам, а не нравственному совершенству человека. Наряду с этим, он, насколько позволяет это ему его сан, защищает нахождение в своей библиотеке и сладких вымыслов поэтов (глава XIII).

Судьба трактата в прошлом веке была довольно плачевна. Его знали только записные библиофилы и библиографы, и он был переведен всего на два языка: английский (ок. 1830 г.) и французский (1856 г.). Но в нашем столетии «Филобиблионом» интересуются

довольно сильно: в 1912 г. появляется немецкий перевод его, в 1914 — итальянский, в 1916 — каталанский, в 1921 — польский, в 1923 — шведский.

Подвожу итоги: Ричард де-Бери не только дал первый известный нам трактат по библиофильству, но и прекрасно и разумно выяснил сущность этого стремления. Остается только пожелать, чтобы и теперешние наши библиофилы поближе подходили к благородному облику Дурэмского епископа. Высказанные же им мысли о непреходящем значении книг повторялись и повторяются поныне бесчисленное количество раз, причем почти никто из произносивших их и не подозревает, что они впервые были пущены в обиход человечества английским прелатом. Вот почему его трактат не теряет своего значения и в настоящее время и, может быть, заслуживает наибольшего распространения у нас, где еще так мало, сравнительно, ценят и любят книгу. Да и вообще, если переводы «Филобиблона» имеются во всех крупных европейских литературах, то неужели ему не найдется места и в русской?

А. Малеин.

БИБЛИОГРАФИЯ СОЧИНЕНИИ А. Ф. КОНИ.

Составили: Р. А. Гольдарбейтер, Е. А. Шахматова, С. А. Шахматова-Коплан и Б. И. Коплан.

Составители библиографии сочинений А. Ф. Кони пытались достигнуть возможной полноты данной библиографии, представив ее в хронологическом порядке (по году выхода в свет книги или статьи) в пределе лет от 1866 года, когда появилась первая научная статья А. Ф. Кони, до настоящего года [1]). В перечне книг и статей в пределе каждого года соблюдена также хронология, насколько возможно было ее выдержать.

Составители сознают, что исчерпывающей полноты данного библиографического списка они не достигли, ибо некоторые рецензии А. Ф. Кони, затерянные в некоторых периодических изданиях 80-х годов прошлого века, в него не вошли.

---

[1]) В основу настоящей библиографии положен список, составленный в алфавитном порядке статей Р. Гольдарбейтером (напечатан в книжке Н. Юрского — „А. Ф. Кони в истории русской общественности". П. 1924, стр. 22—33). В нем 198 №№. В нижеследующем библиографическом списке 278 №№.

Во всем списке выдержана новая орфография. В названиях некоторых журналов допущены сокращения, именно:

«В. Е.» — «Вестник Европы».

«В. Л.» — «Вестник Литературы».

«Ж. М. Ю.» — «Журнал Министерства Юстиции».

«Р. А.» — «Русский Архив».

«Р. Ст.» — «Русская Старина».

1866

О праве необходимой обороны, — „Московские Университетские Известия", приложение, т. I, М. стр. 1—103.

Юридический разбор книги Джемса Стеффена „Уголовное право в Англии".— „Ж. М. Ю." СПБ, кн. 27, стр. 371—389.

Рецензия на книгу Любавского „Сборник замечательных уголовных процессов".—„Ж. М. Ю.", т. 28, стр, 351—382.

Об ошибке в области уголовного права.— Ж. М. Ю"., т. 28, стр. 419—444,

Перевод статьи Вернера о телесных повреждениях.—„Ж. М. Ю.", т, 29-ый. стр. 377—408.

1879

— Сборник замечательных уголовных процессов. А. Любавского. Содержание: Описание двадцати иностранных уголовных процессов, СПБ. 1866.— «Ж. М. Ю.» № 4 и 5, стр. 351—352.

— Уголовное право Англии в кратком очертании. Сочинение Фиц-Джемса Стифенса. Перевод с англ. В. Спасовича. (Изд. В. Ковалевского). СПБ. 1867.—„Ж. М. Ю.» № 2, стр. 371—389.

— Уголовно-статистические этюды. Этюд 1-й. Статистич. опыт исследования физиологического значения различных возрастов человеческого организма по отношению к преступлению. Н. Неклюдова. СПБ. 1865.—«Ж. М. Ю.» № 2, стр. 371—389.

Заключительная речь по делу Юханцева. (В заседании 24-го января 1879 г.)— „Правительственный Вестник", № 31.

1881

Спорный вопрос нашего судоустройства. I — III.— „В. Е." I, стр. 199—235.

У гроба Ф. М. Достоевского. Подписано: К-нт —„Порядок" № 29, 30 янв.

Достоевский как криминалист. — (Произнесено в общем собрании Юридического Общества при СПБ. Университете, 2 февраля 1881 г.)— „Неделя", № 6, 8 февраля, стр. 208—218.

Достоевский как криминалист.—„Ж. М. Ю.".

1883

Уголовное судопроизводство. Лекции 1882—1883 г.г. Курс 1-го кл. Имп. Училища Правоведения. Литография S. I. et a.

1884

Невица Полина Виардо Гарсиа.—Шутка И. И. Мятлева. 1843 г. „Р. Ст.“, V, стр. 403—404.

1885

† 7-го мая 1885 г. „Памяти Константина Дмитриевича Кавелина“.—Очерк.—„Р. Ст.“, VI, стр. 649—660. Подписано: А. К...

М. А. Языков. (Некролог.).—„Неделя“, № 5, 2 февраля, стр. 194—195. Подписано А. К.

7-е мая 1885 г. (Памяти Константина Дмитриевича Кавелина).—„Неделя“, № 19, 12 мая, стр. 710—716. Подписано А. К.

Заключение по делу о злоупотреблениях, обнаруженных в Таганрогской Таможне, СПБ 1885.

1886

Цесаревич Константин Павлович. 1824 г. „Р. Ст.“ XII, стр. 604.

Заключение обер-прокурора уголовного кассационного департамента Правительствующего Сената А. Ф. Кони по делу о редакторе газеты „Новое Время“ М. П. Федорове. С.-Пб.

1887

Рескрипт императора Павла I. 1880 г.—Сообщ. А. Ф. Кони. „Р. Ст.“, II, стр. 374.

Рескрипт императора Николая 1852 г.—Сообщ. А. Ф. Кони. „Р. Ст.“, III, стр. 732.

Александр Васильевич Головнин, действ. тайн. совет., член Государств. Совета, статс-секретарь. † 3-го ноября 1886 г. Заметка А. К.—Р. Ст., III, стр. 788—789.

Указ Петра Великого. 1711.—Сообщ. А. Ф. Кони.—„Р. Ст.“, VIII, стр. 732.

Указ императрицы Елисаветы 1752.—„Р. Ст.“ VIII, стр. 732.

Заметка Петра I.—Сообщ. А. Ф. Кони.—„Р. Ст.“, X, стр. 211.

Спиноза в русском переводе.—Этика Бенедикта Спинозы, Перев. с латинского под ред. В. П. Модестова. „В. Е.“, XI, стр. 369—375.

1815 год. Письмо прапорщика Софийского пехотного полка Василия Ч[аг]ина к родителям.—Сообщ. Анат. Ф. Кони. „Р. Ст.“, XII, стр. 845—847.

1888

Малолетнему воспитаннику благородного при Университете пансиона, чтоб он старался быть таков, как здесь изображено.—Документ начала XIX века. Состав. проф. Прокопович—Антонской. Сообщ. Анат. Фед. Кони.—«Р. Ст.» III, стр. 796—798.

Заключение по делу Кетхудова.—«В. Е.», V, стр. 438—444.

Судебные речи (1868—1888).—Памяти Никиты Ивановича Крылова. Обвинительные речи.—Руководящие напутствия присяжным.—Кассационныезаключения. СПБ. стр. IV+745+11.

Автобиография (18-го марта 1884 г.) «Знакомые». Альбом М. И. Семевского, изд.—ред. истор. журнала« Русская Старина» 1867—1888. СПБ. 25-го марта. Стр. 208.

Указ сей Царя и Великого Князя всея Руссии мне, сироте его Государеву, чрез Думного боярина и летописей великого хранителя Михаила Ивановича (Семевского) объявлен. . . . (Автобиографическая шутка). «Знакомые». Альбом М. И. Семевского, изд.-ред. истор. журнала «Русская Старина» 1867 — 1888. СПБ. 25-го марта. Стр. 145.

1889

Договор помещика с живописцем в 1840-м году. Сообщ. А. Ф Кони. «Р. Ст.» X, стр. 56.

1890

Заключение по делу отставного поручика Николая Вельяшева. 17-го апреля 1890 г. — „Правительственный Вестник". № 91.

„Как всплакалась Россия о своем Белом Царе", стихотворение, сложенное одною изсектбезпоповщинского толка. 1881 г. Сообщ. Анатолий Фед. Кони. — „Р. Ст." XII, стр. 689—690.

Разделение голосов по делам уголовным (Практическая заметка)—„Юридическая Летопись», II, стр. 116—122.

Возобновление уголовных дел. (Практическая заметка).—„Юридич. Летопись". VII, стр. 1—18.

Воспоминания о А. Д. Градовском. — „Памяти Градовского". СПБ. изд. Петерб. Юрид. О-ва, стр. 28 — 40.

Судебные речи (1868 — 1888 г.г.) — (Памяти Никиты Ивановича Крылова). Обвинительные речи. Руководящие напутствия присяжным. Кассационные заключения. Кассационные доклады. Изд. 2-ое СПБ., IV + II + 778 стр.

1891

Речь о А. Д. Градовском.—„Р. Ст." I, стр. 199—203.

О свидетельствовании сумасшедших в особом присутствии губернского правления. (Практическая заметка) — „Юридическая Летопись» № 1, янв., стр. 17—33.

1892

Голодному на хлеб. — Альбом автографов.—СПБ. Изд. газ. „Русская жизнь".

Новые механ и новое вино (история первых дней судебной реформы).—«Книжки Недели". № 3. стр. 5—50.

1893

Памяти В. А. Арцимовича (2-ое—5-ое марта 1893 г.) Подписано: А. К.—„В. Е.," IV, стр. 807—813.

1895

Юридические новинки и новые течения в уголовном процессе Италии и Германии.—Ж. М. Ю., № 3, (январь) стр. 95—124.

Вступительное и заключительное сообщения о суде присяжных и о суде с сословными представителями.—(При руководстве совещанием старших представителей и прокуроров судебных палат.—29—31 декабря 1894 года.— „Ж. М. Ю.", № 4 (февраль), стр. 32—60.

Предельный возраст для судей.—„Ж. М. Ю" №5 (Март), стр. 107—131.

О дискреционной власти судапопроекту уголовного уложения. — „Протокол заседаний Кавказского Юридического Общества." IV, стр. 11—15.

О лучших книгах для чтения" — М. Ледерле: „Мнения русских людей о лучших книгах для чтения". стр. 67—74.

1896

Дмитрий Александрович Ровинский.—Очерк.—„В. Е.", I, стр. 129—175; II, стр. 607—660.

Общественная и государственная деятельность Д. А. Ровинского. Речь. — СПБ.

За последние годы. Судебные речи (1888—1896 г.) Воспоминания и сообщения. Юридические заметки. — (Памяти Федора Петровича Гааза). СПБ., стр. XIII+2 н.+623.

Памяти В. А. Ераковой—Даниловой. — „Мир Божий."

1897

Доктор Ф. П. Гааз.—Очерк. Посвящается проф. Л. Л. Гирману. „В. Е." I, стр. 8—62; II, стр. 461—520.

Федор Петрович Гааз, — Биографический очерк. СПБ. 170 стр., с портр.

Задачи трудовой помощи. — „Трудовая помощь" (журн.) № 1, ноябрь, стр. 44—56.

Кн. Владимир Федорович Одоевский,—„Энциклопедический словарь." Том XXI-а. Изд. „Брокгауз—Ефрон." СПБ. Стр. 748—752.

Речь по делу об убийстве на речке Ждановке крестьянки Емельяновой ее мужем.— „Ляховецкий, Л. Д. Характеристика известных русских судебных ораторов». СПБ. стр. 173—184.

Судебные речи. — 1868 — 1888. (Памяти Никиты Ивановича Крылова). Обвинительные речи. Руководящие напутствия присяжным. Кассационные заключения. Изд. 3-ье. СПБ. 730 стр.

1898

Иван Федорович Горбунов.—Очерк.—„В. Е" XI, стр. 5—63; XII, стр. 437—481.

За последние годы.—Судебные речи (1888 — 1896). — Юридические сообщения и заметки.—Воспоминания и биографические очерки. Изд. 2-ое СПБ стр. XXIII+745.

1899

Иван Алекс. Гончаров о Пушкине—.(Из письма от 24 июля 1880 г.)—«Р. Ст.“, V, стр. 265—266.

Нравственный облик Пушкина. (посвящается И. Н. Обнинскому).—«В. Е.“, X, стр. 491—525.

Раден, Э. Ф., баронесса.—Энциклопед. слов. Бр. и Ефр., т. XXVI. СПБ, стр. 67—68.

Дмитрий Александрович Ровинский. — Энциклопедич. слов. Бр. и Ефр., т. XXVI—а, стр. 870—873.

К. Д. Кавелин.—Вступительная статья. Собр. соч. т. III. СПБ. стр. VII—XX.

1900

Constantin Dmitrievitch Kaveline.—«Revue Internationale de sociologie», № 11, стр, 806—819.

Общественные взгляды А. С. Пушкина.—Речь в торжественном собрании Имп. Академии Наук 26 мая 1899 г. СПБ, — в книге „Чествование памяти Пушкина Императорскою Академиею Наук“. Мяй 1899. СПБ, стр. 34—70.

Дело Гулак-Артемовской и Богданова. Заседание С.-Пб. окружного суда с участием присяжных заседателей 20-23 октября 1878 года. (Резюме председательствующего А. Ф. Кони). „Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. Т. V.“. Изд. Скорова. М. 1900, стр. 160—170.

О составлении подложного духовного завещания от имени умершего капитана гвардии Седкова. Заседание Спб. окружного суда, по 2 отделению, 27 марта 1875 г., с участием присяжных заседателей. „Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах“. Т. V. Изд. Скорова. М. 1900, стр. 110—113.

1901

Речь на торжественном заседании Юрид. О-ва 17 дек. 1900 г. посвящается памяти Н. И. Стояновского.—„Вестник Права“. I, стр. 113—150.

Памяти Николая Ивановича Стояновского. Речь.—„Право“, № 2, стр. 53—88.

К воспоминаниям о Мочалове. Письмо к редактору „Мир Божий“, II, стр. 39—45.

Суд присяжных.—„Энциклопед. слов. Бр. и Ефр.“, т. XXXII, Спб., стр. 3—12.

Тардье. „Энциклопед. слов. Бр. и Ефр.“, т. XXXII-а, СПБ. стр. 637—639.

Федор Петрович Гааз.—Биограф. очерк. Изд. 2-ое, А. Ф. Маркса СПБ. 170 стр.

1902

Нравственные начала в уголовном процессе.—Всту-

вительная лекция по уголовному судопроизводству в Имп. Александровском Лицее.—„Ж. М. Ю“. СПБ., № 1, стр. 1—44.

О врачебной тайне. «Вестник Общества“ II, (июнь) стр. 77—86.

Труды и задачи Петербургского Юрид. О-ва.—Речь.—„Право“. СПБ. № 11, стр. 511—533.

Губский, Михаил Федорович.—„Право“, № 42, стр. 1862—1865.

Книга о князе В. А. Черкасском.—Материалы для биографии князя В. А. Черкасского. Составила кн. О. Трубецкая. Т. 1-ый. Князь В. А. Черкасский и его участие в разрешении крестьянского вопроса. Книга I. Москва. 1901 V+331+176 стр.—„В. Е.» XI, стр. 317—341“.

И. Ф. Горбунов. Под ред. и с предисловием А. Ф. Кони т. I, изд. 2-ое, А. Ф. Маркса СПБ. стр. IV+5—441+2 н. С портр.

Дело Мясниковых. Заседание Спб. окружного суда, с участием присяжных заседателей, 17—22 февраля 1872 г. (Речь прокурора Кони). „Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. Т. VI. Изд. Скорова. М., стр. 23—86.

Общие черты судебной этики.—Доклад в заседании Московского Психологического Общества 22 декабря 1901 г. Москва. 44 стр.

1903

Владимир Сергеевич Соловьев.—Собрание сочинений Вл. Соловьева. Т. I—IV. Философия (1873—1880). Богословие; церковные вопросы; публицистика. СПБ. — «В. Е.» 1903 г. II, стр. 651—689.

Памяти В. А. Арцимовича.—„Право“ № 10, стр. 676—678.

— Гиляров, проф. — Предсмертные мысли XIX в. во Франции „В. Е.“ XI, стр. 388—400.

Князь Владимир Александрович Черкасский.-Главные деятели освобождения крестьян. Под ред. С. А. Венгерова. СПБ., изд. Бр. и Ефр., стр. 44—50.

И. Телешов.—„Повести и рассказы“.—„В. Е.“, XI. стр. 413—416.

Памяти В. С. Соловьева.—„Изв. Отдел. рус. яз. и слов. Л. Н.“, т. VIII, кн. 1-я, стр. 233—277.

По поводу юбилея одной книги. (Отрывок из личных воспоминаний). — „Право“. СПБ., № 48, стр. 2695—2701.

Кони, Ирина Семеновна.—Подписано: К. Е. Н—ть—„Русск. биогр. словарь“. Том Кнаппе-Кюхельбекер. СПБ., стр. 103—104.

Кони, Федор Алексеевич.—Подписано Кент, там-же, стр. 104—108.

Крылов, Никита Иванович, там же, стр. 494—498.

Федор Петрович Гааз.—По новым материалам.—„В. Е.“ XII, стр. 646—702.

Вел. кн. Елена Павловна.—Главные деятели освобождения крестьян, под ред. С. А. Венгерова. С.П.Б. изд. Бр. и Ефр., стр. 11—23.

Памяти Основательницы Клинического Института.—(1807—1873 г.г.) Отчет Клинического Института в. кн. Елены Павловны за 1902 г. СПБ.

1904

Памяти Б. Н. Чичерина.—„Право“ СПБ. № 6, стр. 361—366.

Памяти Д. Н. Набокова.—(† 15 марта 1904 г.) „Право“. СПБ. № 12, стр. 713—718.

О праве вскрытия трупов умерших в больницах.—(Письмо в редакцию). „Право“. СПБ. № 44, стр. 3017—3018.

Князь В. Ф. Одоевский (очерк).—„Журнал для всех“, I, стр. 27—39.

Князь В. Ф. Одоевский.—Речь в публичном соединенном собрании Отделения русского языка и словесности и Разряда изящной словесности 16 ноября 1903 г.—„Известия Отд. рус. яз. и слов. Ак. Наук на 1903 г.“ СПБ. т. VIII, кн. 4-ая, стр. 270—303.

Памяти А. Ф. Маркса.—„Нива“. СПБ. № 50, стр. 1001.

Проф. А. И. Гиляров.—„Предсмертные мысли XIX века во Франции.—“Киев 1901 г.“—Отчет о XV присуждении Пушкинской премии“. С.П.Б. 16 стр.

В. А. Арцимович.—Виктор Антонович Арцимович. Воспоминания характеристики “С.П.Б. стр. 3—10.

Выдержки из письма.—„Виктор Антонович Арцимович. Воспоминания—характеристики“ СПБ. стр. 787.

Письмо к В. А. Арцимовичу.—„Виктор Антонович Арцимович. Воспоминания — характеристики“. СПБ. стр. 733—734.

Через десять лет. „Виктор Антонович Арцимович. Воспоминания — характеристики. СПБ., стр. 794—796.

Николай Андреевич Будковский. „Главные деятели и предшественники судебной реформы. Под ред. К. К. Арсеньева“. Изд. Брокгауз и Ефрон. СПБ. Стр. 33—36, с портр.

Дмитрий Николаевич Замятнин. „Главные деятели и предшественники судебной реформы. Под ред. К. К. Арсеньева“. Изд. Брокгауз и Ефрон. СПБ. Стр. 36—41, с портр.

Михаил Евграфович Ковалевский. „Главные деятели и предшественники судебной реформы. Под ред. К. К. Арсеньева“. Изд. Брокгауз и Ефрон СПБ. Стр. 41—42.

Дмитрий Александрович Ровинский. „Главные деятели и предшественники судебной реформы. Под ред. К. К. Арсеньева“. Изд. Брокгауз и Ефрон. СПБ. Стр. 15—27, с портр.

Сергей Иванович Зарудный. „Главные деятели и предшественники судебной рефор-

мы. Под ред. К. К. Арсеньева". Изд. Брокгауз и Ефрон. СПБ. Стр. 8–15, с портр.

Николай Иванович Стояновский. „Главные деятели и предшественники судебной реформы. Под ред. К. К. Арсеньева". Изд. Брокгауз и Ефрон. СПБ. Стр. 27—33, с портр.

Федор Петрович Гааз. Биографический очерк. Изд. 3-е доп. А. Ф. Маркса. СПБ. Стр. 4—184, с портр. и 72 рис. Е. П. Самокиш-Судковской.

Тоже. Изд. 4-ое. СПБ. 193 стр. с портр.

Иван Федорович Горбунов. „Полное собрание сочинений И. Ф. Горбунова под редакцией и с предисл. А. Ф. Кони". Изд. 3-е А. Ф. Маркса. СПБ. Т. I. Стр. 7—107.

1905

Памяти П. О. Бобровского. „С.-Петербургские Ведомости". № 37.

Страничка из жизни А. С. Пушкина. (Памяти А. Н. Кирпичникова). „Изв. Отд. рус. яз. и слов. Ак. Наук", т. X, кн. 1-ая, стр. 399—414.

Неизданное письмо А. С. Пушкина. „Русск. Мысль". IX, стр. 252. Известие о нем.

Автобиография. П. К. Тихомиров. Историческая записка второй С.-Петербургской гимназии". СПБ. Ч. 3-ья, стр. 378—380.

Из воспоминаний и заметок судьи. СПБ. 87 стр.

Свидетели на суде. Заметки и воспоминания судьи. „Проблемы психологии". Вып. I. Ложь и свидетельские показания. Ред.-изд. П. П. Хохлев. СПБ. стр. 102—144.

Судебные речи.—Общие черты судебной этики.—Свидетели на суде.—Обвинительные речи.—Руководящие напутствия присяжным.—Кассационные заключения.—Кассационные доклады.—По пересмотру Судебных Уставов. Изд. 4-ое доп. СПБ. Стр. LXVI+79—943+IV. [Содержание: Введение. Нравственные начала в уголовном процессе. Свидетели на суде.—Обвинительные речи. — Руководящие напутствия присяжным.—Кассационные заключения. — Кассационные доклады.—Заключения в мировом с'езде.—По пересмотру судебных уставов].

Письмо А. С. Пушкина. 1 декабря 1826 года.—Сообщил А. Ф. Кони. СПБ., 17 стр. (Извлечено из „Журнала для всех" 1904, № 12).

1906

Гюйо, М.—Стихи философа. Пер. П. Н. Тхоржевского. СПБ., стр. 17 (Отд. отт. из Отчета о XV присуждении Пушкинских премий).

Очерки и воспоминания (Публичные чтения, речи, статьи и заметки). (Посвящается графу Дмитрию Алексеевичу Милютину). СПБ. стр. X+891. Содержание: Вместо предисловия.—Нравственный облик Пушкина.—Стра-

ничка из жизни Пушкина.—Князь Владимир Федорович Одоевский.—Федор Михайлович Достоевский.—Иван Федорович Горбунов. — Владимир Сергеевич Соловьев.—Никита Иванович Крылов.—Константин Дмитриевич Кавелин.—Памяти Александра Дмитриевича Градовского.—Борис Николаевич Чичерин.—Федор Петрович Гааз.—Великая княгиня Елена Павловна.—Эдитта Федоровна Раден.—Князь Владимир Александрович Черкасский.—Дмитрий Александрович Ровинский.—Сергей Иванович Зарудный.—Николай Иванович Стояновский.—Дмитрий Николаевич Замятнин.—Николай Андреевич Буцковский.—Михаил Евграфович Ковалевский.—Дмитрий Николаевич Набоков.—Виктор Антонович Арцимович.—Александр Данилович Шумахер.—Георгий Николаевич Мотовилов.—Владимир Данилович Спасович.—Павел Осипович Бобровский.—Памяти товарищей: I. А. М. Бобрищев—Пушкин. II. М. Ф. Губский. III. С. Ф. Морошкин. IV. А. А. Марков.—Михаил Александрович Языков.—Памяти Веры Даниловны Ераковой—Даниловой.—Заметки и добавления: I. Задачи трудовой помощи. II. Новая книга профессора Гиляров. III. Спиноза в русском переводе. IV. Из портфеля журналиста: 1) К воспоминаниям о Мочалове. 2) М. Н. Загоскин и цензура. 3) Письмо поэта Никитина. 4) Пропавшая серьга.—Алфавитный указатель.

1907

Константин Карлович Грот. Посвящается его памяти. Речь, произнесенная в торжественном собрании попечительства о слепых, ведомства императрицы Марии Александровны, в день открытия памятника К. К. Гроту. „В. Е.“ I, стр. 5—13.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. I. Освидетельствование душевно-больных (1870—1895)—„Р. Ст.“, II, стр. 259—287.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. II. Из прокурорской службы. „Р. Ст.“, X, стр. 5—26.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. III. Из прокурорской службы. „Р. Ст.“, XII, стр. 507—523.

Воспоминание о князе Александре Ивановиче Урусове.—Кн. А. И. Урусов. Статьи его, письма его, воспоминания о нем. т. II. и т. III. М., стр. 191—216.

Иван Федорович Горбунов.—Сочинения И. Ф. Горбунова. Изд. О-ва Люб. Др. Письмен. т. III., ч. 1—4. СПБ., стр. 190—273.

1908

Житейские встречи (Отрывки из воспоминаний). Синьор Беляев.—„Р. Ст.“ I, стр. 19—32.

Константин Константинович Арсеньев. По поводу 50-летия его деятельности. — „Р. Ст.", II, стр. 245—255. С портр.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. IV. Из прокурорской службы. „Р. Ст.", III, стр. 491—508.

Отрывки из воспоминаний. I—V. В. Е., V. стр. 5—57.

Памяти графа Гейдена (15 июня 1908 г.). — „Слово". М. № 484.

Законопроект о Народном Университете. — „Слово" М. № 489.

Попечение о народной трезвости. — В. Е., VI, стр. 773—795.

О содержании судебных чинов. — „Слово" М. № 496.

Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. — Ежем. лит. и попул.-науч. прил. к „Ниве", IX, стр. 5—76.

Памяти Н. Н. Мясоедова. — „Слово". М. № 577.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. V. Из прокурорской службы. — „Р. Ст.", XI, стр. 289—302.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. VI. Из судейской службы. — „Р. Ст.", XII, стр. 531—546.

Шуточное стихотворение Мятлева. — „Известия русск. яз. и слов. И. Акад. Наук. на 1907 г." т. XII, кн. 4-я. СПБ. стр. 358—360.

Отрывки из воспоминаний. — „Вестник Европы". 1876—1908. — „Моск. Еженедельник" № 47 (29 ноября), стр. 18—25; № 48 (5 дек.), стр. 15—27; № 49 (12 дек.), стр. 32—38; № 50 (19 дек.), стр. 32—45 и отдельный оттиск. 40 стр.

1909

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. VII. Из судейской службы. — „Р. Ст.", I, стр. 5—27.

Отрывки из воспоминаний. — „В. Е.", I, стр. 42—80.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. VIII. — „Р. Ст.", II, стр. 233—255.

Федор Алексеевич Кони. (К столетию дня его рождения) — „Нива". СПБ. (Изд. Маркса) № 14, стр. 273—276.

Авторское право. — „Московский еженедельник". № 34 (29 августа), стр. 9—24; № 37 (19 сентября), стр. 19—32.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. IX. „Р. Ст.", X, стр. 3—29.

Открытие памятника Федору Петровичу Гаазу. — „Нива", № 43, стр. 743—744.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. X. — „Р. Ст.", XI, стр. 231—247.

Памяти Тургенева. (Речь в торжественном заседании Императорской Ака-

демии Наук 1 марта 1909 г.).— Ежем. литер. и попул.-научн. прил. к „Ниве", № 11, стр. 375—396; № 12, стр. 561—586.

Житейские встречи. (Из воспоминаний судебного деятеля). Александр Иванович Чупров.—„Р. Ст.", XII, стр. 461—485, с портр.

Из воспоминаний об Александре Ивановиче Чупрове. М. [Отд. оттиск из III т. сборника „А. И. Чупров. Речи и статьи"]. Портр.+35 стр.

1910

Житейские встречи. (Из воспоминаний судбного деятеля). III.—„Р. Ст.", I, стр. 3—21.

Психиатрическая экспертиза и действующие законы. (Речь при открытии съезда отечественных психиатров 27 декабря 1909 г.)—„В. Е"., II, стр. 145—166.

Толстой.—„Р. Вед.", № 258.

Житейские встречи Домочадцы.—„Ежем. литер. и попул.-научн. прилож. к „Ниве", XI, стр. 321—340; XII, стр. 513—532.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. XI.—„Р. Ст.", XI, стр. 231—257.

Житейские встречи. IV.—„Р. Ст.", XII, стр. 469—483.

Доктор Ф. П. Гааз (Краткий биографический очерк). Изд. Моск. Гор. Склада Учебн. Пособий. М. 37 стр. с рис.

Памяти Тургенева. Речь в торжественном заседании Имп. Акад. Наук 1 марта 1909 г.—„Известия Отд. русск. яз. и словесн. Имп. Акад. Наук. на 1909 г. т. XIV, кн. 4-я. СПБ., стр. 1—39.

1911

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. XII и XIII.—„Р. Ст.", I, стр. 3—40.

Памяти М. М. Стасюлевича.—„Р. Вед." М. № 21. и в „М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Под ред. М. К. Лемке". т. I. СПБ., стр. 6—11.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. XIV.—„Р. Ст.", II, стр. 227—256.

М. М. Стасюлевич как характер.—„В. Е.", III, стр. 416—426 и в „М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке"; т. I, СПБ., стр. 12—21.

Искусство речи на суде [о книге П. С. Пороховщикова] „В. Е.", XI, стр. 91—111.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. XV.—„Р. Ст.", XI, стр. 231—269.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. XVI.—„Р. Ст.", XII, стр. 461—488.

Вел. кн. Константин Николаевич.—„Великая реформа", т. V. М. Изд. т-ва И. Д. Сытина, стр. 34—51. С рис.

К. К. Грот и В. А. Арцимович. — Великая реформа", т. V., стр. 223—228. С рис.

Вел. кн. Елена Павловна.—„Великая реформа", т. V. стр. 14—34. С рис.

„Живой труп" в действительности.—Ежегодн. Имп. Театров", СПБ., вып. VI, стр. 13—23.

Из воспоминаний.—„Ежегодник Имп. Театров", вып. I, стр. 1—12.

Авторское право.—„Новый энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона", т. I. СПБ., стр. 327—365.

1912

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. XVII. „Р. Ст." 1912, I, стр. 3—30.

Памяти И. Н. Шамшина.—„Право". СПБ. 1912, № 4, стр. 183—187.

Житейские встречи. (Из воспоминаний молодости и старости).—„Литер. и научно-попул. прилож. к „Ниве" на 1912 г.". Изд. А. Ф. Маркса. СПБ. III, стр. 161 — 192, 321 — 348, 513—546.

Житейские встречи. Очерки Гр. Дмитрий Алексеевич Милютин. († 25 января 1912 г.)—„Литер. и научно-попул. прилож. к „Ниве" на 1912 г." Изд. А. Ф. Маркса. СПБ. VI, стр. 287—314.

Иван Александрович Гончаров. (Речь в публичном заседании Академии Наук, посвященном памяти И. А. Гончарова).—„Литер. и научно-попул. прилож. к „Ниве" на 1912 г."; VII, стр. 321—348.

Образы прошлого. Т. Щепкина—Куперник:—Сказания о любви М. 1910). „В. Е." X, стр. 345—351.

Из области религиозных исканий. (В. Н. Ясевич-Бородаевская.—Борьба за веру. Очерки по старообрядчеству и сектантству, СПБ. 1912 г.). — „В. Е." XII, стр. 115—139.

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. XVIII. Гражданские дела. „Р. Ст.", XII, стр. 451—481.

Воспоминания о В. О. Ключевском.—„В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. Изд. „Научное Слово". М., стр. 141—163.

На жизненном пути. Т. 2-й.—Из воспоминаний.—Публичные чтения.—В верхней палате. Посвящается памяти Графа Петра Александровича Гейдена. Изд. тов. И. Д. Сытина. СПБ. 792 стр. [Содержание:—*Из воспоминаний:* I. Лев Николаевич Толстой. II. По поводу драматических произведений Толстого. III. Тургенев—Достоевский—Некрасов—Апухтин—Писемский. IV. Александр Иванович Чупров. V. Василий Осипович Ключевский. VI. „Вестник Европы". VII. Константин Константинович Арсеньев. VIII. Граф Дмитрий Алексеевич Милютин. IX. Памяти Д. А. Дриля.—*Публичные чтения:* I. Пирогов и школа

жизни. II. Памяти Тургенева. III. Вел. кн. Константин Николаевич IV. Иван Александрович Гончаров. V. Константин Карлович Грот. VI. Два судебных оратора. VII. Памяти Якова Григорьевича Есиповича.—*В верхней палате:* I. Старообрядческие общины. II. Переход в другие исповедания. III. Снятие духовного сана. IV. Попечительства о народной трезвости. V. Об упразднением тотализаторе. VI. Народный Университет Шанявского. VII. Уравнение наследственных прав женщин. VIII. Законопроект об авторском праве. IX. Условное досрочное освобождение. X. Отмена существующего обряда предания суду. XI. Отмена прокурорских заключений по гражданским делам. XII. Объяснение присяжных угрожающего подсудимому наказания. XIII. Увеличение содержания судебным чинам. XIV. Местный суд. XV. Землеустройство и кассация. XVI. Штаты Министерства Путей Сообщения. XVII. Ассигнование на флот. XVIII. Финляндия и общегосударственные законы. XIX. Запросы о применении 87 ст. Законов Основных.—*Дополнения:* I. Совещания о составлении Устава о печати. II. Памяти П. П. Шамшина. III. К открытию памятника доктору Гаазу].

1913

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля. XIX. Гражданские дела. Ревизии.—„Р. Ст.“, I, стр. 3—17.

Письма Н. Грекова к Ф. А. Кони. Сообщено А. Ф. Кони.—„Р. Арх.“, II, стр. 46—51.

Письмо в редакцию. Подписано А. Ф. Кони и Е. Ф. Турау.—„Р. Ст.“, IV, стр. 48—52.

Письмо в редакцию.—„Голос Минувшего“. СПБ., IV, стр. 294—296.

Письмо в редакцию „Незабудки“. 20 сентября.—„Незабудка“. (Газета Моск. патроната над детьми). М.

На жизненном пути, т. I. Посвящается памяти графа Петра Александровича Гейдена. Из записок судебного деятеля. Житейские встречи. [Содержание:—Вместо предисловия—*Из записок судебного деятеля:* I. Дело Овсянникова. II. Из казанских воспоминаний. III. Из харьковских воспоминаний. IV. Игуменья Митрофания. V. Дело о подделке серий. VI. Игорный дом Колемина. VII. Иван Дмитриевич Путилин. VIII. Из прокурорской практики. IX. Темное дело. X. Приемы и задачи обвинения. XI. Из прошлого петербургской прокуратуры. XII. Прокуратура и администрация. XIII. Судебные следователи. XIV. Дело Гулак-Артемовской. XV. Ландсберг. XVI. Маргарита Жюжан. XVII. Обвиняемые и свидетели. XVIII. Сведущие люди и экспертиза. XIX. Душевнобольные. XX. Мировые судьи. XXI. Александр Иванович Урусов. XXII. А. Л. Боровиковский и Н. Н. Мясое-

лов. XXIII. Униатские дела. XXIV. Штундисты. XXV. Пасторские дела. — *Житейские встречи*: I. Синьор Беляев. II. Остенде (1869—1873 г.г.). III. В дороге.—Гимназические воспоминания IV. Домочадцы]. М. Изд. И. Д. Сытина. 679 стр.

На жизненном пути. т. II.—Из воспоминаний.—Публичные чтения.—В верхней палате. Изд. 2-е. (СПБ.) И. Д. Сытина.

Веротерпимость (свобода совести) в России:—„Новый энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона". Т. 12-ый СПБ., стр. 188—202.

Гааз, Ф. П. — „Новый энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона". Т. 12-ый. С.П.Б., стр. 282—286.

Гейден, П. А., граф.—„Новый энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона", т. 12-ый. С.П.Б., стр. 840—844.

Горбунов. И. Ф.—„Новый энцикл. словарь. Брокгауза и Ефрона, т. 14. СПБ., стр. 189—191.

1914

Из заметок и воспоминаний судебного деятеля XX. Присяжные заседатели. „Р. Ст." I, стр. 5—26, II, стр. 243—280.

Житейские встречи V. Mortuos plango (О. В. Градовская, Е. Н. Воронова, А. В. Плетнева). „Р. Ст." II, стр. 281—296, с 3-мя портретами.

Граф М. П. Лорис-Меликов. (Отрывочные воспоминания) Игр. „Голос Минувшего", 1, стр. 181—202.

Я. М. Гальперин. „Право", № 9, стр. 841—844.

Наш юбиляр (судебные уставы) 1864 г. „Право" № 47, стр. 3175—3184.

Из истории судебных уставов „Вестник гражд. права" № 7, стр. 5—11.

Двадцатого ноября 1864—1914 г. г. „Вестник Права", № 47, стр. 1389—1390.

На службе Судебным Уставам (памяти Обнинского и Джаншиева). „Голос Минувшего", XI, стр. 5—32.

Судебные уставы. „Ж. Мин. Юст." XI, стр. 1—33.

Вступительная статья и переписка его с Г. А. Джаншиевым в Сборнике статей Г. А. Джаншиева. Под ред. В. П. Обнинского. Изд. „Задруга" М. стр. XXIII+519+1 н.

Вступительная статья к Сборнику статей П. Н. Обнинского. Под ред. В. П. Обнинского. Изд. „Задруга" М. 231+1 н. стр.

Федор Петрович Гааз. Биографический очерк. Изд. 3-ое. М. 199, стр. с рис.

На жизненном пути. — Том. I. Из записок судебного деятеля.—Житейские встречи. Изд. 2-ое, тов. И. Д. Сытина. М. 659 стр.

Отцы и дети судебной реформы. (К 50-летию Судебных Уставов).—1864 г.—20 ноября—1914 г. Изд. тов. И. Д. Сытина. М. IV + 295 + 22 + 1 + н. стр. + 27 листов портр. Содержание: От издателя. — Предисловие.—Дмитрий Александрович Ровинский.—Сергей

Иванович Зарудный.—Николай Иванович Стояновский.—Дмитрий Николаевич Замятин.—Николай Андреевич Буцковский.—Михаил Евграфович Ковалевский.—Дмитрий Николаевич Набоков.—Виктор Антонович Арцимович.—Георгий Николаевич Мотовилов.—Иван Иванович Шамшин.—Мировые судьи (из воспоминаний).—Александр Михайлович Бобрищев-Пушкин.—Михаил Федорович Губский.—Алексей Алексеевич Марков.—Владимир Данилович Спасович.—Константин Константинович Арсеньев.—Александр Львович Боровиковский.—Сергей Федорович Морошкин.—Князь А. И. Урусов и Ф. Н. Плевако.—Яков Григорьевич Есипович.—К портретам.—Старый и новый суд в изображении И. Ф. Горбунова. Послесловие.—Алфавитный указатель.

Дриль, Д. А.—„Новый энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона Т. 16-й. СПБ., стр. 805—808.

Елена Павловна, вел. кн.—„Новый энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона Т. 17-й СПБ., стр. 432—436.

1915

Из воспоминаний и заметок судебного деятеля. Пять лет назад.—„Р. Ст.“, I, стр. 5—28.

Заключительные прения сторон в уголовном процессе.—„Вестник Права“ № 14, стр. 469—475.

К истории нашей борьбы с пьянством.—„Новая жизнь“, IV, стр. 121—128.

Почетный Академик К. Р. Речь, произнесенная почетным академиком А. Ф. Кони в общем собрании Академии Наук в память Великого Князя Константина Константиновича 2 декабря 1915 года.—Две речи, произнесенные 2 декабря 1915 года в полугодовой день кончины Августейшего Президента Императорской Академии Наук. На правах рукописи, стр. 13—32.

Почетный Академик К. Р.—Ежем. литер. и попул.-научн. прилож. к „Ниве“.

К. К. Грот.—„Лицейский Журнал“. П. № 3—4, стр. 122—130.

На жизненном пути. Т. 2-й. Из воспоминаний. Житейские встречи. В верхней палате. Изд. 3-е. М. II+736 стр.

Памяти А. П. Философовой.—Сборник памяти А. П. Философовой, т. 2. П., стр. 1—10.

Петр Великий и народное просвещение.—„Вестник Общества ревнителей истории“. Вып. II, стр. 202—216.

1916

Памяти барона Н. Н. Врангеля.—„Р. Ст.,“ I, стр. I—VIII.

Новый суд (Из записок старого судебного деятеля).—„Ж. М. Ю.,“ IV, стр. 1—33.

М. М. Ковалевский в законодательной деятельности.—„В. Е.“, IV, стр. XI—XXVII. и отдельно, Пгр.

А. А. Сабуров († 10 марта 1916 г.) — „Право", № 11, стр. 157—668.

Должностные преступления и суд присяжных заседателей. — „Вестник Права", № 48, стр. 1153 — 1156.

Зеленый змий (памяти Челышева) — „Отдых христианина", № 1, стр. 211—222.

На жизненном пути. — Т. 2-й. Из воспоминаний. Житейские встречи. В верхней палате. М. Изд. 4-е. Стр. II+736.

Барон Н. Н. Врангель и русское прошлое. — „Венок Врангелю от Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины." Пгр., стр. 43—58.

Мировой суд в С.-Петербурге — „Петроградский Мировой Суд за 50 лет. 1866 — 1916 г. г." т. II. Пгр., стр. 1313—1339. С портр.

Одоевский, В. Ф. кн. „Новый энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона". Т. 29-ый С.П.Б., стр. 294—299.

1917

Памяти А. А. Сабурова (В годовом собрании защиты женщин) — „Право". № 1, стр. 1—5.

Ближайшие задачи уголовного законодательства.—„Ж. М. Ю.", II—III, стр. 25—31.

Житейские встречи. V (А. Г. Харина).—„Р. Ст.", IV—VI, стр. 1—9.

М. М. Ковалевский в Государственном Совете. — „М. М. Ковалевский. Сборник статей." Пгр. 69—86.

1918

Отзвуки далекого прошлого.—„Р. Ст.", I — II, стр. 3—12.

Предисловие к книге — „Тургенев и Савина". Изд. Госуд. Театров, стр. V — XXXVIII.

1919

Житейские встречи (Петр IV) — „Голос Минувшего" II., №№ 5—12, стр. 163—170.

Житейские встречи (Из отрывочных воспоминаний) „В. Л." II. № 3, стр. 6—7.

Памяти Д. В. Стасова. — „В. Л."

Петр Дмитриевич Боборыкин.—„В. Л." № 7, стр. 4—5.

Этика общежития. — Записки Института Живого Слова", т. I, Пб., стр. 56—58.

Программа курса лекций: живое слово и приемы обращения с ним в различных областях. — „Записки Института Живого Слова, т. I, стр. 82—84.

1920

Памяти Ж. А. Полонской.—„В. Л.", № 1, стр. 16.

Из воспоминаний судебного деятеля. Закон 19 мая 1871 г.—„Дела и дни". Кн. 1-я. Пб., стр. 175—188.

1921

Встречи с Ф. М. Достоевским.—„Вестник Литературы". П. № 2, стр. 6—8.

Памяти Л. Л. Гиршмана. — „Вестник Литературы." П. № 3, стр. 13—14.

Речь в Доме литераторов.— „Вестник Литературы". П., № 3, стр. 18—19.

Памяти А. Е. Молчанова. — „В. Л.", П., № 6—7, стр. 16—17.

Автобиография. — „Вестник Литературы." П. № 9, стр. 15—16.

Двадцать восьмого января 1881 г. Однодневная газета Русского Библиологич. О-ва П., Госиздат. 30 окт. (12 ноября) 1921 г.

Мотивы и приемы творчества Некрасова. (Беглые заметки). — „Некрасов", памятка ко дню столетия рождения. П., Госиздат. стр. 15—17.

1821 — 1921. Некрасов и Достоевский. — По личным воспоминаниям. Кооперат. изд-во литераторов и ученых. Пб. 81 стр.

Общественные взгляды Пушкина. „Пушкин-Достоевский. Изд. Дома Литераторов. Пб. 1921, стр. 46—75.

Похороны Тургенева. — „Тургеневский сборник", П., стр. 7—85.

1922

† Н. В. Давыдов. (Памяти ушедших).—„В. Л.", № 1(37), стр. 22—23.

В. Г. Короленко и суд. — „Журнал Общественно-Кооперативной Мысли — Произвдсоюз", № 1—4, январь-февраль. Письма Короленка перепечатаны в издании: В. Г. Короленко. Письма. 1888—1921. Под редакцией Б. Л. Модзалевского. Труды Пушкинского Дома при Росс. Академии Наук, Пгр. 1922, стр. 318—321.

Памяти Достоевского. — „Артельное дело" (журн.) П. № 1—4, стр. 2—3.

Нравственность и государственные доходы. — „Артельное дело", П., № 1—4, стр. 15—18.

Нравственность и общественная жестокость. — „Артельное дело", П., № 5—8.

Александр Фомич Вельтман. — „Sertum bibliologicum", в честь президента Русск. Библиологич. О-ва проф. А. И. Маленна. П., Госиздат, стр. 194—196.

Память и внимание. (Из воспоминаний судебного деятеля).—П., изд. „Полярная Звезда", стр. 78.

С. С. Манухин. — „Школа и жизнь".

Суще-глупые и умом прискорбные. (Из воспоминаний судебного деятеля). П., к-во „Маяк", 41 стр.

Петербург. - Воспоминания старожила. - Изд. „Атеней". П. 80 стр.

На жизненном пути. — т. III, ч. I. Ревель-Берлин. Изд. „Библиофил". 622 стр. Содержание: От автора — Воспоминания: Граф Лорис-

Меликов.—Савина и Тургенев.—М. М. Ковалевский. – Житейские драмы. — Житейские встречи: Из лет юности и старости. — За-границей и на родине. — Домочадцы. — Из области таинственного. – Памяти ушедших: Обнинский и Джаншиев. — П. О. Бобровский. — М. А. Языков. — Н. В. Давыдов.—В. А. Еракова-Данилова.—А. Г. Харина. — О. В. Градовская. - А. В. Плетнева. Критические очерки: Искусство речи на суде. – Из области религиозных исканий. – Кн. А. В. Черкасский—Новый труд А. Н. Гиляров. – Отзвуки далекого прошлого. — Князь Сумбатов — Южин. — Былые образы. — Борьба с преступлением.—Уголовная политика. Спиноза в русском переводе.—Приложение: Задачи трудовой помощи.—Перевод иностранных цитат.

1923

Юридический и бытовой характер самоубийств. — „Право и Жизнь“ (журн.), М., кн. I, стр. 36—77.

Самоубийство в законе и жизни. М., изд. „Право и Жизнь“ ст. 26.

Воспоминания об А. Н. Островском.—Переданы А. Златкиным в „Жизни Искусства“. П., № 14, стр. 24.

Суд—наука—искусство. (Из воспоминаний судебного деятеля). — П. „Полярная Звезда“, стр. 68+1 н.

На жизненном пути. — Т. IV. Публичные чтения *) Ревель Берлин. Изд. „Библиофил“. Стр. 8 н. + 474 + 1 н. Содержание: Публичные чтения и речи: Нравственный облик Пушкина. — Страничка из жизни Пушкина. — Кн. В. Ф. Одоевский.—В. С. Соловьев. — Почетный Академик К. Р. — К. Д. Кавелин. — А. Д. Градовский. - Похороны Тургенева. — Ф. М. Достоевский. — Вел. Кн. Елена Павловна.—Памяти А. П. Философовой. — Памяти Д. А. Ровинского.—Памяти бар. Н. Н. Врангеля.—М. Д. Челышев. — Памяти М. А. Сабурова. — Памяти Д. В. Стасова. — Петр Великий и народное просвещение. Добавление: Из портфеля, старого журналиста.—Перевод иностранных цитат и выражений.

1924

Приемы и задачи прокуратуры (Из воспоминаний судебного деятеля.) — П., изд. П. П. Сойкина, 116 стр., с портр.

Воспоминания о Чехове — в „Чеховском Сборнике“ Пушкинского Дома (печатается).

*) Посвящено памяти академика Алексея Александровича Шахматова. А. Ф. Кони был в большой дружбе с покойным академиком. А. А. Шахматов один из первых приветствовал А. Ф. при избрании его в почетные академики Разряда Изящной Словесности при II м Отделении Акад. Наук. Отца и мать жены А. А. Шахматова А. Д. и О. В. Градовских А. Ф. Кони прекрасно знал, любил и посвятил их памяти свои воспоминания о них. См. наш список.

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

ПРИВЕТСТВИЯ

Приветствие академика С. Ф. Платонова . . . . . .

Адрес Отделения русского языка и словесности Российской Академии Наук 11

Приветствие академика С. Ф. Ольденбурга 13

Адрес Пушкинского Дома 17

Адрес Толстовского Музея 18

Приветствие Ленинградского Государственного Университета 19

Приветствие С. Ф. Платонова на вечере в Доме Ученых 11-го февраля 1924 г. 21

СТАТЬИ

I. А. А. Жижиленко. «А. Ф. Кони, как криминалист» 24

В. П. Срезневский. «Ко́невская повесть» Л. Н. Толстого 40

П. П. Карсев. «Анекдота» 57

Л. С. Утевский. «Из ранних лет А. Ф. Кони» . 70

Е. П. Султанова-Леткова. «Несколько слов об Ирине Семеновне Кони» 89

М. С. Королицкий. «Об одной речи А. Ф. Кони» 97

П. Б. Л. Модзалевский. «Из галлереи современников и знакомцев Пушкина» . . . 103

П. М. Гревс. «И. С. Тургенев в письмах к Полонским» 136

М. Д. Беляев. «Из истории старого водевиля» 162

П. Е. Рейнбот. «На мотив сказки А. С. Пушкина» 180

В. Д. Комарова. «Неизданная записка Тургенева» 189

А. И. Маленн. «Ричард де-Бери и его филобиблион» 193

БИБЛИОГРАФИЯ СОЧИНЕНИЙ А. Ф. КОНИ

Составили: Р. Л. Гольдарбейтер, Е. А. Шахматова, С. А. Шахматова-Коплан, Б. П. Коплан 207

«Анатолию Федоровичу Кони». Стихотворение Т. Щепкиной-Куперник 102

Типография Торговой Палаты. Ленинград, Полтавская 12.

Ленинградский Гублит № 12779. Тираж 1500 экз. 7 п. л.

BK